Мария Баганова
Пушкин. Тайные страсти сукина сына



Баганова Мария. Пушкин. Тайные страсти сукина сына
М.: АСТ; Времена 2, 2015. — 352 с. — ISBN 978-5-17-094514-6, 978-5-17-093201-6.

Аннотация

Действие романа начинается в 1929 году, когда в руки скромного сельского врача попадает старинная рукопись, посвященная великому поэту. Содержание ее оказывается настолько шокирующим, что ученые не рискуют опубликовать ее. Россия пушкинской поры предстает в ней во всех деталях, весьма неприглядных, а сам великий поэт и его поведение шокирует советских ученых своим поведением, порой весьма экстравагантным. Блестящий роман-исследование Марии Багановой полностью основан на исторических документах.

Мария Баганова
Александр Пушкин. Тайные страсти сукина сына

Предисловие

Письмо в Русское евгеническое общество[1]

Март. 1929 года.

Уважаемые коллеги!

С большим волнением пишу вам как постоянный подписчик и читатель издаваемого вашим Обществом альманаха «Клинический архив гениальности и одаренности». Я, скромный сельский врач, работающий в N*ской районной больнице, всегда интересовался освещаемыми в сборнике проблемами происхождения одаренности, таланта, гениальности и связи этих замечательных проявлений человеческого духа с теми или иными душевными недугами, которые еще не полностью побеждены в нашей новом строящемся социалистическом обществе. Я постоянно слежу за патографической[2] литературой в СССР и на Западе и не мог не отметить, что тогда как в буржуазных странах, и особенно в Германии, творчество и биографии величайших мастеров слова подробно исследованы с этой точки зрения, то в нашей стране в этом отношении сделано очень и очень мало. А один из величайших мастеров слова – Александр Сергеевич Пушкин до сих пор патографически совершенно не освещен. Давно уже пора к этому приступить.

Волей обстоятельств достался мне старинный архив моего двоюродного прадеда, так же как и я, врача. Предок мой, Иван Тимофеевич Спасский, – доктор медицины, профессор Медико-хирургической академии по кафедре зоологии и минералогии. По воспоминаниям его слушателей, он был маленького роста, некрасивый внешне, кривой на один глаз. Запомнились студентам его лекции, которые он читал, стоя на возвышении кафедры, размахивая руками, подпрыгивая и брызгая слюной во все стороны. Зато как читал! В аудитории яблоку негде было упасть, студенты за час занимали места. Спасский пользовался большой любовью своих учеников, был он человеком прогрессивным и мыслящим: когда возник вопрос о допущении женщин к второстепенной медицинской деятельности, он высказался за положительное разрешение этого вопроса. По отзывам своих современников, он был одним из весьма дельных представителей медицины того времени, одним из лучших русских профессоров, у которого студенты многому научились.

Законодательство царской России включало преподавателей университетов в общую систему чиновной иерархии. Доктор медицины получал чин V класса. Приобретение учености открывало для тех, кто не имел дворянского звания, путь к нему, таким образом предок мой получил личное дворянство. В наши дни забавно читать о том, как мой предок стесняется своего простого происхождения и раболепствует перед князьями и баронами. Но как ни пошло это звучит в наше время, тогда именно чин и происхождение характеризовали

---

[1] Научное общество, существовавшее в 1920–1929 годах, ставившее своей целью изучение вопросов наследственности человека, в том числе вопрос происхождения гениальности и одаренности.

[2] Патография – критика литературных произведений с точки зрения исследования психики их автора.

социальную значимость человека.

Мой предок жил и работал в то время, когда отечественная психиатрия пребывала еще в состоянии диком и почти первобытном. Душевнобольных людей сажали на цепь, били, подвергали различным издевательствам. Однако и в жестокой николаевской России находились врачи, опередившие свое время, которые предпочитали лечить больных, предоставляя им возможность созидательно трудиться, обеспечивая нормальные жизненные условия. Безусловно, в условиях царизма это было невероятно сложно! В своих бумагах мой прадед говорит о своем интересе к зарождающейся психиатрии и упоминает имена врачей, стоявших у ее истоков. Сотрудничая с ними, имея обширную практику, он интересовался не только физическими, но и душевными расстройствами своих пациентов, хотя чаще всего моему прадеду приходилось лечить истерию – постыдную болезнь великосветских дам, происходившую от праздности и лени. Знакомство с великим русским поэтом А. С. Пушкиным стало для моего прадеда событием величайшей важности. После женитьбы Пушкина Спасский как специалист-акушер был домашним врачом его семьи. Из опубликованных писем поэта следует, что отношение его к Спасскому было самым добрым, и Пушкин порой даже обедал в гостях у моего предка. А кроме того, Иван Тимофеевич последовательно собирал разнообразные факты и рассказы о Пушкине, желая постичь природу его таланта. Был Спасский знаком с докторами Арендтом и Далем, а также встречался со многими людьми из окружения великого поэта. После смертельного ранения Пушкина Иван Тимофеевич почти неотлучно находился у его постели и поэт оставил ему на память свою трость с серебряным набалдашником.

Доктор Спасский продуктивно работал еще около двадцати лет после гибели Пушкина, но потом сам заболел душевным расстройством, а через год скончался. Увы, такой конец был нередок среди прогрессивно настроенных людей в эпоху царской реакции.

Иван Тимофеевич Спасский оставил записки, в которых пытался проанализировать личность великого русского поэта. К сожалению, у записок моего прадеда отсутствует окончание, и поэтому нам неизвестно, какие выводы он сделал. Кроме того, полученное моим прадедом воспитание (он был сыном священника, служителя культа) обусловливало известную ограниченность его взглядов. Еще одной причиной, по которой доктор Спасский не мог сделать объективный анализ личности поэта, является, как я уже говорил, неразвитость психиатрической науки того времени. Сейчас, опираясь на достижения советской медицины и науки, я дал себе смелость закончить труд моего предка, проанализировав и обобщив его записи. Результат этой своей работы я выношу на ваш суд.

Глава 1

Случилось это примерно году в 42-м. Пришлось мне задержаться в станционной гостинице примерно в тех местах, где годами ранее путешествовал великий наш поэт Пушкин, собирая материалы для своей «Истории Пугачевского бунта».

Его превосходительство барон Модест Андреевич Корф, управлявший делами Кабинета Министров и недавно назначенный государственным секретарем, стоял неизмеримо выше меня по общественному положению, несмотря на то что к тому времени я был уже в чине статского советника и получил диплом на дворянское достоинство, и в других обстоятельствах я вряд ли мог рассчитывать на откровенность с его стороны. Хотя нельзя сказать, чтобы мы были совсем незнакомы: несколько раз барон посещал Медико-хирургическую академию и ваш покорный слуга даже представлял ему доклады о положении дел в нашем учебном заведении и рекомендовал молодые таланты. Я был много наслышан о бароне Корфе как о человеке в высшей степени умном, деловитом, скромном, богобоязненном и обладающем всеми достоинствами государственного мужа. И вот, услышав, что барон, захворав в пути, находится неподалеку в доме местного помещика, я не замедлил явиться в усадьбу Василия Васильевича О., где остановился барон, и предложил свои услуги. Тем более что, наведя справки, я выяснил, что лекарь здешний поклоняется более Бахусу нежели Эскулапу и потому вряд ли способен оказать больному квалифицированную помощь. Приняли меня радушно. Добродушный Василий Васильевич был несказанно рад появлению столичного доктора, профессора и почти сразу же проводил меня к высокопоставленному больному.

Представившись, я внимательнейшим образом осмотрел пациента и определил его болезнь как неопасную, усилившуюся только из-за неправильного лечения. Сделав назначения, я задержался, желая удостовериться, что все будет исполнено правильно.

Привыкший к столичной жизни и активной деятельности барон страдал не только от недуга физического, но и от унылой деревенской скуки. Василий Васильевич изо всех сил желал угодить своему гостю, но сам он был человеком простым и недалеким и вряд ли мог развлечь беседой умного и искушенного в жизни столичного чиновника. В этом смысле у барона Корфа было более общего со мной, человеком простого происхождения, но петербургским жителем, нежели с провинциальным столбовым дворянином.

Василий Васильевич развлекал барона анекдотами из деревенской жизни, со смехом передавая подробности местных судебных дел и сплетен о своих соседях. Он рассказывал о помещиках Н., муже и жене, которые были очень скупы; они жили в доме на двух половинах. Вечером общая приемная комната их никогда не была освещена. Когда докладывали им о приезде кого-нибудь, он или она, смотря по приезжему, то есть его ли это гость или ее, выходил или выходила из внутренней комнаты со свечою в руке. Когда же гость мог быть обоюдный, то муж и жена, являясь в противоположных дверях и завидя друг друга, спешили задуть свечу свою, так что гость оставался в совершенных потьмах.

Самой смешной и замысловатой была, пожалуй, тяжба о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол.

– Отец этого предполагаемого Василия пишет в своем прошении, что лет пятнадцать тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник, быв под хмельком, окрестил девочку Васильем и так внес в метрику. Обстоятельство это, по-видимому, мало беспокоило мужика, но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрутская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому. Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил десятилетнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой. Тут уж как-то завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирал плотских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы, и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужеского пола.

Василий Васильевич сам от души хохотал над подобными делами, но барону эти рассказы порядком наскучили.

Теперь барон узнал меня и даже вспомнил некоторые детали из моих ему представлений. Он принялся расспрашивать меня о студентах, о лекциях, о поветриях, углубляясь даже в детали столь специальные, что я только дивился глубине его познаний.

Оказалось, что знаком он и с моим коллегой доктором Шольцем, служившим в Воспитательном доме, коего он принялся ругать из-за недавно имевшего место поветрия, унесшего жизни многих воспитанников. Зачитал он мне и жалобу, теми воспитанниками сочиненную: «Главная надзирательница бьет нас беспощадно при дворниках, нагих девиц, некоторые от ее тиранства с ума сходили и с заходных труб бросалися. Всегда с ругательством нам упрекают, что мы непотребнаго рода».

Я как мог защищал своего коллегу, повествуя о трудностях его каждодневной службы, и, надеюсь, смягчил сурового барона.

– Злые матери приносят несчастных младенцев в таком жалком виде, что помирают те в первые же часы, и не всегда даже успевают их осмотреть доктора, – объяснял я. – Приносят младенцев и только что рожденных, и не всегда возможно найти для них кормилиц, а если в более позднем – то часто в таком истощенном виде, что уж лучше бы сразу….

Постепенно барон смягчился и заговорил о других предметах. Неожиданно он этак сощурил глаза и спросил:

– Это ведь Шольц и вы – те самые доктора, что осматривали нашего умирающего поэта Пушкина?

Я не замедлил признаться, что имел честь исполнить сию печальную обязанность. Но к сожалению, сделать было ничего нельзя: рана была весьма тяжела. Я добавил, что и ранее неоднократно встречался с Александром Сергеевичем: лечил его покойную мать… Потом, осмелев, я добавил, что знаком близко в Францем Осиповичем Пешелем, лекарем в Царскосельском лицее.

– Вы ведь учились вместе с Пушкиным, ваше превосходительство, – произнес я, скорее с утвердительной, а не вопросительной интонацией.

Барон подтвердил, улыбнулся, вспомнив доктора Пешеля:

– Он был добрым человеком, о котором могли отзываться дурно разве только его больные, – заметил он.

– Отчего же так, ваше превосходительство? – поинтересовался я. – Неужели так плохо он вас лечил?

– Солодковым корнем, – рассмеялся барон, – других средств Франц Осипович не признавал. Да, впрочем, мы были молоды, сами выздоравливали. Это уж сейчас, под старость, без лекарей – никуда…

Я решил быть откровенным с бароном и заговорил о Пушкине, о том, что знал его много лет и до сих пор не сумел еще понять необыкновенной его натуры. О том, что не теряю надежды постичь секрет рождения его удивительных стихов. Я говорил о том, каким необыкновенным учебным заведением был Лицей, коли из его стен вышло столько людей необыкновенных… Моя неуклюжая лесть не прошла незамеченной: барон снисходительно улыбнулся. Было очевидно, что к лести он привык и хорошо умел ее распознавать. Но гнева я не вызвал! Напротив.

– Я бы мог кое-что вам порассказать… – проговорил Корф. – Но не боитесь ли вы, что созданный вами в воображении светлый образ Поэта будет разрушен? Вы ведь, как мне кажется, придумали для себя нечто вроде идеала…

– Ваше превосходительство, я был домашним врачом Пушкина и знал поэта достаточно хорошо, чтобы понять, что идеальным он не был. К тому же как врач я привык к тому, что под прекрасным обликом таятся болезни.

– Это правильный подход не только к врачеванию, но и ко многим другим сторонам жизни, – кивнул Корф. – Ну так скажу вам, что жизнь Пушкина была двоякая: жизнь поэта и жизнь человека. То есть как высок он был в своем творчестве, так низок и ничтожен в жизни.

Не так давно явилось в Германии сочинение – воспоминания и заметки бывшего петербургского книгопродавца Пельца. Вы читали?

– Да, ваше превосходительство, держал в руках и бегло ознакомился… – ответил я. – Имел возможность. Это, по обыкновению большей части иностранных сочинений о России, была горькая диатриба против нас и всего нашего. По сути, пересказ сплетен.

– Да, это так, но диатриба, в которой встречались и очень живые характеристики наших литераторов, – возразил барон. – Вот там, на тумбочке, – сочинение господина Пельца. Не соблаговолите ли подать?

Я повиновался. Взяв в руки томик в коленкоровом переплете, барон принялся читать по-немецки: «Пушкин получал огромные суммы денег от Смирдина, которых последний никогда не был в возможности обратно выручить. Смирдин часто попадал в самые стесненные денежные обстоятельства, но Пушкин не шевелил и пальцем на помощь своему меценату. Деньгами он, впрочем, никогда и не мог помогать, потому что беспутная жизнь держала его во всегдашних долгах, которые платил за него государь; но и это было всегда брошенным благодеянием, потому что Пушкин отплачивал государю разве только каким-нибудь гладеньким словом благодарности и обещаниями будущих произведений, которые никогда не осуществлялись и, может статься, скорее сбылись бы, если б поэт предоставлен был самому себе и собственным силам».

Барон отложил книгу и заговорил уже от своего имени:

– Было время, когда он от Смирдина получал по червонцу за каждый стих; но эти червонцы скоро укатывались, ведь он был игрок. А стихи, под которыми не стыдно было бы выставить славное его имя, единственная вещь, которою он дорожил в мире, – писались не всегда и не скоро. При всей наружной легкости этих прелестных произведений, или именно для такой легкости, он мучился над ними по часам, и в каждом стихе, почти в каждом слове было бесчисленное множество помарок. Сверх того, Пушкин писал только в минуты вдохновения, а они заставляли ждать себя иногда по месяцам.

Тут я не возражал: поэт сам признавался мне в этом.

– Пушкин смотрел на литературу как на дойную корову, – продолжил барон, – и знал, что Смирдин, которого кормили другие, давал себя доить преимущественно ему. Но пока только терпелось, Пушкин предпочитал спокойнейший путь – делания долгов, и лишь уже при совершенной засухе принимался за работу. Государь раз за разом платил его долги, но не получал благодарности! Когда долги слишком накоплялись и государь медлил их уплатою, то в благодарность за прежние благодеяния Пушкин пускал тихомолком в публику двустишия, вроде следующего: «Хотел издать Ликурговы законы – И что же издал он? – Лишь кант на панталоны». Вот оно – мерило признательности великого гения!

– Но разве это строки Пушкина? – возразил я. – Поэт сам жаловался мне на то, что ему приписывают все вольнодумные стишки, какие только появляются.

– Эпиграмма анонимна, – кивнул Корф. – Подлинного автора не знает никто. И то правдиво, что поэту приписывали многое чужое и, по-правде говоря, бездарное.

– При мне поэт пил за здоровье государя императора Николая Павловича и открыто заявлял о своей любви к нему, – добавил я.

– Однако же дыма без огня не бывает! – возразил Корф. – Как вы справедливо заметили, пройдоха-Пельц пересказывает сплетни, а они на пустом месте не родятся. Принимая одной рукой щедрые дары от государя, поэт другой омокал перо для язвительной эпиграммы.

Я не удержался и возразил:

– Вы только что изволили вспомнить о щедрых дарах. Действительно, благодушная рука монарха щедро отверзалась для поэта и даже для оставшейся семьи, когда самого его уже не стало. До самой смерти Пушкина император Николай называл себя его другом. Стал бы государь поступать так, коли бы поверил, что именно Александр Сергеевич автор тех дерзких шуток?

– Величие духа нашего государя и его исключительное благородство не подлежат сомнению! – изрек Корф. – К сожалению, не могу я отметить те же качества у нашего поэта…

Он снова раскрыл книгу и пролистал несколько страниц, находя нужное место.

– Вот послушайте, что дальше пишет этот немец: «Вокруг Пушкина роились многие возникающие дарования, много усердных почитателей, которым для дальнейшего хода недоставало только поощрения и опоры. Но едкому его эгоизму лучше нравилось поражать все вокруг себя эпиграммами. Он не принадлежал к числу тех, которые любят созидать. Он жаждал только единодержавия в царстве литературы, и это стремление подавляло в нем все другие».

– Какая гнусная клевета на нашего величайшего поэта! – воскликнул я. – Я знал его как раз в те годы, когда он издавал «Современник», и осведомлен о его заботе о молодых дарованиях.

– Все это, к сожалению, – важно возразил мне барон, – сущая правда, хотя в тех биографических отрывках, которые мы имеем о Пушкине и которые вышли из рук его друзей или слепых поклонников, ничего подобного не найдется, и тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был бы почтен чуть ли не врагом Отечества и отечественной славы. Все, или очень многие, знают эту жизнь; но все так привыкли смотреть на лицо Пушкина через призматический блеск его литературного величия и мы так еще к нему близки, что всяк, кто решился бы сказать дурное слово о человеке, навлечет на себя укор в неуважении или зависти к поэту.

– Что вы, помилуйте! Как вас можно упрекнуть в зависти! Вы достигли всего, о чем только может мечтать человек…

– Да, жизнь моя складывается не пустою и для Отечества полезной, – с небольшой улыбкой согласился барон. – Однако же находились обвинители! Меня называли врагом поэта, что есть ложь. Хотя мы с Пушкиным никогда не были близкими друзьями, но отношения наши были вполне товарищескими. Узнав о работе Пушкина над историей Петра I, я предоставил Пушкину свою библиографию иностранных сочинений о России. В ответ на это Пушкин ссудил меня разными старинными и весьма интересными книгами. Но возможно, вам недосуг выслушивать разглагольствования скучающего больного? – вдруг оборвал он сам себя. – Любезный Иван Тимофеевич, я и забыл, что вы человек дельный, занятой и пожаловали сюда оказать мне услугу, за которую я вам премного благодарен. Возможно, я злоупотребляю вашим временем?

Я поспешил заверить барона, что никаких планов на сегодняшний день у меня нет и что единственной заменой приятнейшего общения с его превосходительством, явится для меня борьба с клопами в номере захудалой станционной гостиницы.

– Ну коли так… – улыбнулся Модест Андреевич и начал свой рассказ. – Воспитывавшись с Пушкиным шесть лет в Лицее, я знал его короче многих, хотя связь наша никогда не переходила обыкновенную приятельскую. Лицей был в то время не университетом, не гимназией, не начальным училищем, а какою-то безобразной смесью всего этого вместе, и, вопреки мнению Сперанского, смею думать, что он был заведением, не соответствовавшим ни своей особенной, ни вообще какой-нибудь цели. Нас – по крайней мере, в последние три года – надлежало специально приготовлять к будущему нашему назначению, а вместо того до самого конца для всех продолжался какой-то общий курс, полугимназический и полууниверситетский, обо всем на свете: математика с дифференциалами и интегралами, астрономия в широком размере, церковная история, даже высшее богословие – все это занимало у нас столько же, иногда и более времени, нежели правоведение и другие науки политические.

Он сделал паузу.

– Однако выучили вас изрядно, – промолвил я. – На полученное образование вы не можете пожаловаться.

– Как нас учили, видно уже отчасти из вышесказанного, – ответил барон. – Кто не хотел учиться, тот мог вполне предаваться самой изысканной лени, но кто и хотел, тому не много открывалось способов при неопытности, неспособности или равнодушии большей части преподавателей, которые столько же далеки были от исполнения устава, сколько и вообще от всякой рациональной системы преподавания. В следующие курсы, когда пообтерлись на нас, дело пошло, я думаю, складнее; но, несмотря на то наш выпуск, более всех запущенный, по результатам своим вышел едва ли не лучше всех других, по крайней мере несравненно лучше всех современных ему училищ. Одного имени Пушкина довольно, чтобы обессмертить этот выпуск, – признал Модест Андреевич, – но и кроме Пушкина мы из ограниченного числа двадцати девяти воспитанников, поставили по нескольку очень достойных людей почти на все пути общественной жизни.

Я слушал его со всем вниманием.

– Как это сделалось, трудно дать ясный отчет, – продолжал Корф, – по крайней мере ни наставникам нашим, ни надзирателям не может быть приписана слава такого результата. Мы мало учились в классах, но много в чтении и в беседе, при беспрестанном трении умов, при совершенном отсечении от нас всякого внешнего разъяснения. Основательного, глубокого в наших познаниях было, конечно, немного; но поверхностно мы имели идею обо всем и очень были богаты блестящим всезнанием, которым так легко и теперь, а тогда было еще легче отыгрываться в России.

Увы, не мог я не признать его печальной правоты!

– Многому мы, разумеется, должны были доучиваться уже после Лицея, особенно у кого была собственная охота к науке, – рассказывал барон. – Я выпущен был шестым, с чином титулярного советника и с прегромким аттестатом, в котором только наполовину было правды, а наш замечательный Пушкин по успеваемости числился одним из последних.

В Лицее он решительно ничему не учился, но как и тогда уже блистал своим дивным талантом, а начальство боялось его едких эпиграмм, то на его эпикурейскую жизнь смотрели сквозь пальцы, и она отозвалась ему только при конце лицейского поприща плохой аттестацией. Между товарищами, кроме тех, которые, пописывая сами стихи, искали его одобрения и, так сказать, покровительства, он не пользовался особенной приязнью. Как в школе всякий имеет свой собрикет, то мы его прозвали Французом, и хотя это было, конечно, более вследствие особенного знания им французского языка, однако, если вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, ненависть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не заключало в себе ничего лестного. Хотя французским он владел преотлично. Говорил, что мать его предпочитала именно этот язык… Вы обмолвились, что лечили его покойную матушку Надежду Осиповну, – Корф переменил вдруг тему. – И как вам показалась сия замечательная женщина?

Я был несколько смущен: с одной стороны, на вопрос лица столь высокопоставленного, мне следовало отвечать честно и без утайки, но, с другой стороны, как врач, я должен был соблюдать некоторую скромность.

– Должен признаться, что мне она показалась весьма необычной дамой, незаурядной, – уклончиво начал я. – Без сомнения была она умна и довольно деятельна… Однако не могу назвать ее добродушной: временами угнетали ее какие-то мрачные мысли, хотя в другое же время беседовала со мной подолгу, строила планы, была весела…

Корф кивнул.

– Надежда Осиповна была женщина не глупая и не дурная, но имела, однако же, множество странностей, между которыми вспыльчивость, вечная рассеянность и особенно дурное хозяйничанье стояли на первом плане. Когда у них обедало человека два-три лишних, то всегда присылали к нам, по соседству, за приборами. Дворня их хоть и была многочисленной, но выглядела оборванной и порой пьяной, с баснословною неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана.

Эти слова произнес он с явным пренебрежением.

– Отец Александра, Сергей Львович, всегда был тем, что покойный князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский называл «шалбером», то есть довольно приятным болтуном, немножко на манер старинной французской школы, с анекдотами и каламбурами, но в существе – человеком самым пустым, бесполезным, праздным и притом в безмолвном рабстве у своей жены. Все это перешло и на детей. Каким вы находили Александра Сергеевича?

Я задумался.

– Остроумным, не злым намеренно, но колким на язык, уязвимым, смелым… неосторожным.

– В семействе Пушкиных вряд ли знали слово «осторожность», – заметил Корф. – Благодаря своему острому языку Александр Сергеевич часто наживал себе врагов. Причем порой по ничтожному случаю… Вот, к примеру, у княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедельничные; на одном из них пристали к Пушкину, чтобы прочел свои стихи. Ну кажется, что такого?

Я не возразил, но припомнил слова Пушкина о том, как не любил он подобных просьб.

– Читать ему не хотелось, его упрашивали… – продолжил Корф. – В досаде он прочел «Чернь», помните? «Поэт по лире вдохновенной / Рукой рассеянной бряцал. / Он пел – а хладной и надменной / Кругом народ непосвященной / Ему бессмысленно внимал. / И толковала чернь тупая: / “Зачем так звучно он поет? / Напрасно ухо поражая, / К какой он цели нас ведет? / О чем бренчит? чему нас учит? / Зачем сердца волнует, мучит…”» Все вежливо поаплодировали, хоть и казались удивленным таким выбором. Вот вы можете мне объяснить, зачем он оскорбил так своих поклонников?

– А сам он это как-нибудь объяснял? – поинтересовался я.

– Сказывают, что Пушкин, кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не станут просить!» Вот вам все объяснение, – ответил барон. – И вот из-за таких, как вы правильно выразились, «выходок» и прослыл он вольнодумцем. Вот, например, дошедшее до меня его высказывание, которое уж явно не могло понравиться государю. Как-то в одно из своих посещений Английского клуба на Тверской Иван Иванович Дмитриев заметил, что ничего не может быть страннее самого названия: Московский Английский клуб. Случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия более еще странные. «Какие же?» – спросил Дмитриев. «А Императорское Человеколюбивое Общество», – отвечал поэт.

– Очень язвительно и несправедливо, – согласился я. – И более чем неосторожно. Говорю это не только из верноподданнических чувств, но как человек, не понаслышке знакомый с заботой нашего государя о сирых и беспомощных…

– Да, знаю, как врач вы вполне можете об этом судить, – с улыбкой остановил меня барон. – А со Львом Сергеевичем вам доводилось встречаться?

– Один раз, в доме его родителей, – ответил я. – Признаюсь, встреча меня расстроила, я пытался объяснить ему вред чрезмерного винопития, но он и слушать не стал.

– Брат Лев – добрый малый, – вздохнул барон, – но тоже довольно пустой, как отец, а к тому же рассеянный и взбалмошный, как мать. В детстве он воспитывался во всех возможных учебных заведениях, меняя одно на другое чуть ли не каждые две недели, чем приобрел себе тогда в Петербурге род исторической известности и, наконец, не кончив курса ни в одном, записался в какой-то армейский полк юнкером, потом перешел в статскую службу, потом опять в военную, был и на Кавказе, и помещиком, кажется – и спекулятором, а теперь не знаю где. Печальное пристрастие к винопитию сгубило его карьеру. Поговаривают, что Лев Пушкин пьет одно вино – хорошее или дурное, все равно, – пьет много, и никогда вино на него не действует. Он не знает вкуса чая, кофея, супа, потому что там есть вода… Рассказывают, что однажды ему сделалось дурно в какой-то гостиной, и дамы, тут бывшие, засуетившись возле него, стали кричать: «Воды, воды!» – и будто бы Пушкин от одного этого ненавистного слова пришел в чувство и вскочил как ни в чем не бывало.

Корф рассмеялся. Поняв, что он по примеру хозяина дома потчует меня светскими анекдотами я тоже улыбнулся. Время было уже позднее, я еще раз провел беглый осмотр, убедился, что состояние больного улучшилось, и, пожелав его превосходительству отдыхать, удалился с обещанием, что приду на следующий день.

Я навестил барона Корфа назавтра и в третий день, когда нашел его уже почти что выздоровевшим и в хорошей компании. Навестил его князь Петр Андреевич Вяземский, с которым доводилось мне встречаться лет за пять до того. Был с ними и третий, какой-то армейский офицер, которого мне представили, но чью фамилию я, каюсь, забыл совершенно. Мне было приятно, что князь запомнил меня и теперь приветствовал как хорошего знакомого. Оказалось, что барон рассказал ему о нашей беседе, и теперь они спорили, обсуждая характер покойного Пушкина. Барон был неумолим в своей суровости.

– Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда и без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в тесном знакомстве со всеми трактирщиками…ями и девками, Пушкин представлял тип самого грязного разврата, – негодовал барон Корф. – Начав еще в Лицее, он после, в свете, предался всем возможным распутствам и проводил дни и ночи в беспрерывной цепи вакханалий и оргий, с первыми и самыми отъявленными тогдашними повесами. Должно удивляться, как здоровье и самый талант его выдерживали такой образ жизни, с которым, естественно, сопрягались частые любовные болезни, низводившие его не раз на край могилы.

– Никакого особенного знакомства с трактирами не было, и ничего трактирного в нем не было, а еще менее грязного разврата. Сколько мне известно, он вовсе не был предан распутствам всех родов. – возражал ему Вяземский. – Пушкин не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы. В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее поэтическое увлечение, что, впрочем, и отразилось в поэзии его.

Оказалось, что офицер тот тоже хорошо знал покойного Пушкина.

– Страсти бушевали в нем сильно, выделяя нашего Пушкина из множества людей, – сказал он. – Даже в толпе нельзя было не заметить Пушкина: по уму в глазах, по выражению лица, высказывающему какую-то решимость характера, по едва ли унимаемой природной живости, какого-то внутреннего беспокойства, по проявлению с трудом сдерживаемых страстей. И под страстями я понимаю не только любовное влечение: как-то в разговоре со мной он обмолвился, что самая сильная из его страстей – это страсть к азартной игре.

Упоминание о картах раззадорило барона.

– Иногда я заставал его за карточным столом обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя, – подтвердил Корф. – Известно, что он вел довольно сильную игру и всего чаще продувался в пух. Жалко было смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью. Зато он бывал удивительно умен и приятен в разговоре, касавшемся всего, что может занимать образованный ум.

Увы, даже любивший поэта Вяземский вынужден был признать, что пристрастие к карточной игре составляло одну из главных бед в жизни Пушкина.

– К тому же он почти не умел распоряжаться ни временем своим, ни другою собственностью, – вновь заговорил офицер. – Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в своей постели… И мог так провести время до самого обеда. Иногда можно было подумать, что он без характера: так он слабо уступал мгновенно силе обстоятельств. Между тем ни за что он столько не уважал другого, как за характер.

– Женитьба несколько его остепенила, но была пагубна для его таланта, – высказался Корф.

Офицер с ним тут же согласился, заявив, что Пушкин под конец был не то, что прежде, что писал он с небрежением и его последние стихотворения некрасивы. Вяземский горячо возразил, утверждая, что в бумагах покойного нашлось много прекрасного.

Перемывали косточки и бедной Наталье Николаевне:

– Прелестная жена, любя славу мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире и по странному противоречию, пользуясь всеми плодами литературной известности мужа, исподтишка немножко гнушалась того, что она, светская дама par excellence, в замужестве за homme de lettres, за стихотворцем.

Князь Вяземский снова принялся возражать:

– Жена его любила мужа вовсе не для успехов своих в свете и нимало не гнушалась тем, что была женою литератора. В ней вовсе не было чванства, да и по рождению своему принадлежала она высшему аристократическому кругу.

На сторону Вяземского решился встать и я, напомнив, что хорошо знал бедную вдовицу и могу утверждать, что все грехи ее – это грехи молодости, не более.

– Наталья Николаевна не одарена природой особым умом, быть может порой она была легкомысленна, что простительно в ее возрасте, но она прекрасная мать и была верной супругой, – указал я.

Корф не унимался. Он явно пришел в сильное возбуждение, обычно несвойственное его натуре.

– Брачная жизнь привила Пушкину семейные и хозяйственные заботы, особенно же ревность, и отогнала его музу. Произведения его после свадьбы были и малочисленны, и слабее прежних. Но здесь представляются в заключение два любопытные вопроса: что вышло бы дальше из более зрелого таланта, если б он не женился, и как стал бы он воспитывать своих детей, если б прожил долее?

– Ах, ну так ты договоришься до того, что мы все должны быть благодарны тому убийце-французишке! – оборвал его Петр Андреевич.

– Помилуй! Такого я не говорил! – возмутился барон.

Понимая, что беседующие разгорячились и впоследствии могут пожалеть о том, что высказали лишнее, я поспешил уйти. Однако в передней я задержался, и до моего слуха донеслось нечто весьма интересное.

Барон говорил:

– Ведь, помнится, это тебе пришлось расхлебывать последствия его амурных приключений с крестьянками!

– Да с кем же не бывает! – ответствовал Вяземский.

– Согласен, однако не все присылают своим приятелям обрюхаченных девиц с просьбой о них позаботиться.

– Ну просьбу ту по понятным причинам я выполнить не мог… – рассмеялся Вяземский.

– Малютку-то вы в Воспитательный сдали? – поинтересовался Корф.

– Бог его прибрал, – ответствовал Вяземский. – Месяца через два… Но семейство потом долго пользовалось щедротами совратителя. Уж они-то своего не упустили.

* * *

Его превосходительство был мне благодарен за исцеление, с известной деликатностью он предложил мне некий гонорар за мои труды, от которого я категорически отказался. Барон пообещал, вернувшись в Петербург, пожертвовать известную сумму на воспитание несчастных сирот и, пользуясь разрешением хозяина дома, любезно пригласил меня отобедать. Я с радостью принял предложение, гордясь оказанной мне честью.

Так и случилось, что я оказался приглашен на званый обед, на котором, признаться, чувствовал себя не вполне уютно, ведь я не мог почитать себя человеком светским. Как профессор Медико-хирургической академии я обладал достаточным весом в обществе, но в отличие от многих присутствовавших за столом не мог похвалиться длинной чередой никчемных, но родовитых предков. Ни в Петербурге, ни в Москве не мог бы я присутствовать в столь блестящем обществе, однако здесь, в далекой провинции, в деревне, условностям не придавали столько значения, как в столице.

Кроме хозяев дома, барона Корфа, князя Вяземского и уже упомянутого офицера за столом присутствовали две дамы, одна лет сорока, весьма авантажная, и другая – постарше годами в глубоко декольтированном платье.

Благодушный и веселый Василий Васильевич поддерживал разговор в обычной своей манере – то есть пересказывая местные анекдоты с бородой. Супруга его была скромна и молчалива, но если она заговаривала, то по делу и без глупостей. Беседа как-то сама собой вновь затронула поэта Пушкина. Оказалось, что и любезный хозяин наш знал почившего Гения.

– Пушкин гостил неподалеку. Он работал в комнате, выходящей в сад, и всегда писал в предобеденное время. Мой брат зашел к нему. Пушкин любил с ним беседовать и сказал шутливо: «Вот, Павел Васильевич, не найду рифмы к этой фразе». Ах, милая, не вспомнишь ли той фразы? – обратился он к жене.

– Нет, мон шер, не помню, – огорчилась она.

– Но братец мой очень удачно тогда подсказал, а Пушкин спросил: «Сколько же червонцев я должен заплатить вам, Павел Васильевич?» На вопрос поэта братец мой ответил: «Уж, право, не знаю, Александр Сергеевич, надо нам это хорошенько обдумать». И оба они рассмеялись!

Заулыбались и мы. Стали вспоминать Пушкина, его стихи, ухаживания его за дамами, некоторые из присутствующих могли похвалиться его элегиями в альбомах.

– Признайся, милая, – вновь повернулся к жене Василий Васильевич, – что многие твои подруги были влюблены в поэта.

Скромная дама согласилась с мужем.

– Да, многие были влюблены в его произведения, а может быть, и в него самого, – со смущением проговорила она. – Мы все переписывали стихотворения и поэмы Пушкина в свои альбомы, перечитывали их, учили наизусть… Ах, я знаю таких, которые до сих пор, чуть что, принимаются декламировать его стихи со слезами на глазах. Но это и понятно, ведь Пушкин был очень красив; рот у него был очень прелестный, с тонко и красиво очерченными губами, и чудные голубые глаза. – Она зарделась. – Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у мерлушки, немного только подлиннее.

– Ваше мнение не разделили бы многие, – ответила ей дама постарше. – Бог, даровав ему Гений единственный, не наградил его привлекательною наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевала тот ум, которой виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. – Она презрительно поджала губы. – Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его, да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного и неограниченное самолюбие. Я успела заметить, что он был умен, иногда любезен, очень ревнив и неделикатен. Говорили еще, что он дурной сын, но в семейных делах это невозможно знать; что он распутный человек, да к похвале всей молодежи, они почти все таковы.

Она нахмурила брови. Молодая женщина хотела что-то ответить, но, видимо, не найдя слов, смущенно потупила взгляд.

Мой визави, армейский офицер, высказался вместо нее:

– Однако женщинам Пушкин обычно нравился, он бывал с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своем. Когда он кокетничал с женщиной или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив.

– Но в то же время мы все боялись встречи с ним, зная, что он обладал насмешливостью и острым языком, – проговорила пожилая дама.

Василий Васильевич, улыбнувшись жене, продолжил:

– А ведь и в нашей губернии есть свои поэты! Помнишь, Варенька, – обратился он к супруге, – забавный случай с девицей Наумовой.

– Ах, ну это жестоко… – потупилась она. – Вот вам и пример злого языка поэта.

– Есть у нас одна барышня, уже в изрядных летах, которая предпочла служение музам заботам супружеского очага, возомнив себя новой Сапфо, – принялся за рассказ Василий Васильевич. – Давно она уже перешла за пределы девиц-подростков, сентиментальная и мечтательная, большую часть своего времени занимаясь писанием стихов, которые она к приезду Пушкина переписала в довольно объемистую тетрадь, озаглавленную ею «Уединенная муза Закамских берегов». Пушкин, много посещавший местное общество в Казани, познакомился также и с ней. И сия девица однажды поднесла ему для прочтения пресловутую тетрадь свою со стихами, прося его вписать что-нибудь. Пушкин бегло пролистнул рукопись и под заглавными словами Наумовой: «Уединенная муза / Закамских берегов» быстро написал: «Ищи с умом союза, / Но не пиши стихов».

Василий Васильевич сам расхохотался своему рассказу. Вторили ему и другие.

– Ужель так плохи были ее стихи? – спросил я.

– Да я и не знаю. Я в стихах не мастер разбираться, – честно признался Василий Васильевич. – К тому же Пушкин стихов ее и читать не стал, а лишь на обложку глянул.

Сорокалетняя дама, несмотря на неюный уж возраст, все еще очаровательная и одетая с необычайным вкусом, проговорила:

– Ах, как не повезло той бедняжке! Неосторожно было с ее стороны показывать Александру Сергеевичу свои неумелые творения.

– Вы ведь хорошо его знали, Анна Петровна, – повернулся к ней барон Корф. – Даже почитались за его музу.

При этих его словах среди присутствующих возникло некоторое замешательство, словно барон затронул не совсем удобную тему.

– Музой его я если и имела право считаться, то очень недолго, – с мягкой улыбкой ответила Анна Петровна. Взгляд ее затуманился от воспоминаний. – Не стоит приписывать мне честь, коей я не заслужила. Но переписывались мы несколько лет, это правда. Я просила его устроить в печать мои переводы, но, видимо, он не счел их совершенными. С Пушкиным трудно было сблизиться, а еще труднее было добиться его одобрения.

– Вы подтверждаете мои слова, – снова заговорил барон Корф, – покойный Александр Сергеевич легко мог обидеть ни в чем не повинного человека. Ну вроде как эту глупую старую деву. Что ж, бросила она стихосложение?

– Куда там! – ответствовал Василий Васильевич. – Не бросила! И даже печатается в местном альманахе.

После этих его слов повисла пауза.

– Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении, – с убеждением произнес барон Корф. – Беседы ровной, систематической, связной у него совсем не было; были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но все это только изредка и урывками, большею же частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание, прерываемое иногда, при умном слове другого, диким смехом, чем-то вроде лошадиного ржания.

– Был он вспыльчив, легко раздражен, это правда, – согласился князь, – но со всем тем он, напротив, в обращении своем, когда самолюбие его не было задето, был особенно любезен и привлекателен, что и доказывается многочисленными приятелями его. Беседы систематической, быть может, и не было, но все прочее, сказанное о разговоре его, – несправедливо или преувеличенно. Во всяком случае, не было тривиальных общих мест: ум его вообще был здравый и светлый.

– О, мало кто мог сравниться с ним по остроте ума! – поддакнула пожилая дама. – Не мудрено, что он привык смотреть на общество свысока. Он привык к поклонению, к тому, что все прислушивались к его речам.

– Его светлый, а вернее, острый ум никто не оспаривает, – ответил Корф. – Я говорю лишь о том, что Пушкин не был создан ни для службы, ни для света, ни даже – думаю – для истинной дружбы. У него были только две стихии: удовлетворение плотским страстям и

поэзия, и в обеих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам: злые насмешки, часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над всеми связями общественными и семейными, все это было ему нипочем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели думал и чувствовал.

– Его выходки много содействовали его популярности. Однако нет сомнения, что все истории, возбуждаемые раздражительным характером Пушкина, его вспыльчивостью и гордостью, не выходили бы из ряда весьма обыкновенных, – заметил Вяземский, – если б не было вокруг него столько людей.

– Это уж точно, люди толпились вокруг него! Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры, – поддержал разговор офицер, – а это было для него источником бесчисленных неприятностей, так как он вечно был в раздражении, не находя или не умея занять настоящего места. Самолюбие его проглядывало во всем.

– Самолюбие! – воскликнул кто-то, я не успел заметить кто. – Да-да, снова это слово! Самолюбие его было без пределов: он ни в чем не хотел отставать от других… Словом и во всем обнаруживалась африканская кровь его.

Барон Корф горячо поддержал говорившего:

– Вот именно – африканская кровь! Был он вспыльчив до бешенства, с необузданными африканскими страстями, вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, избалованный от детства похвалою и льстецами, которые есть в каждом кругу.

– Ах, из-за этого он так часто имел дуэли! – печально проговорила пожилая дама. – Благодаря Бога долгое время бывали они не смертоносны. Но ах…

Она погрустнела и картинно перекрестилась. Некоторые последовали ее примеру, и за столом повисла небольшая пауза.

– Обилие дуэлей Пушкина сомнению не подлежит, – заговорил князь Вяземский. – При всем своем добросердечии именно из-за понятий о чести он был довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству и увлечению, сколько по расчету; он, так сказать, вменял себе обязанность, поставил себе на правило помнить зло и не спускать должникам своим. Кто был в долгу у него или кого почитал он, что в долгу, тот рано или поздно расплачивался волею или неволею.

Его поддержал офицер:

– Соглашусь в вами касательно понятий о чести. Пушкин хотел быть прежде всего светским человеком, принадлежащим к высоко аристократическому кругу. Он ошибался, полагая, будто в светском обществе принимали его как законного сочлена; напротив, там глядели на него, как на приятного гостя из другой сферы жизни, как на артиста, своего рода… – он задумался, припоминая фамилии, – Листа или Серве.

– Думаю, здесь вы преувеличиваете, – ответил Петр Андреевич Вяземский. – Пушкин был светским человеком, но и то правда, что общество, особенно где он бывал редко, почти всегда приводило его в замешательство, и от того оставался он молчалив и как бы недоволен чем-нибудь. Он не мог оставаться там долго. Прямодушие, также отличительная черта характера его, подстрекало к свободному выражению мысли, а робость противодействовала.

– Ах, ну где же вы там заметили робость! – возразил Корф.

– Пушкин говорил очень хорошо, – подтвердил офицер. – Робости я в нем не замечал. Пылкий проницательный ум обнимал быстро предметы; но эти же самые качества причиною, что его суждения о вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнавал он чрезвычайно быстро: женщин же он знал, как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими большое влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретал благосклонность оного.

– Не стоит представлять покойного Александра Сергеевича как фальшивого ловеласа, – вступилась за память поэта Анна Петровна. – Любил и увлекался он всегда искренне, хоть и

ненадолго. Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописуемо хорош, когда что-либо приятно волновало его. Когда он решался быть любезным, то ничего не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи. Сам добрый, верный в дружбе, независимый, бескорыстный, живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах: его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное чувство, им внушенное. Пушкин скорей очаровывался блеском, чем достоинством и простотой в характере женщин. Это, естественно, привело к его невысокому о женщинах мнению, впрочем, совершенно в духе нашего времени. – Она улыбнулась, как бы намекая на то, что говорит не вполне серьезно.

– Ах, Анна Петровна, – возразила ей пожилая дама, – вы сами себе противоречите. Начали с того, что Александр Сергеевич любил искренне, а закончили тем, что почитал он нас, женщин, за глупышек и кокеток.

– Возможно, тут и есть противоречие, но не в моих словах, а в самом покойном Александре Сергеевиче, – ответила ей Анна Петровна. – Пушкин любил любовь… Предметы страсти менялись в пылкой душе его, но сама страсть не оставляла. Пушкин предавался любви со всею ее задумчивостью, со всем ее унынием.

– Поэтический идеал? – вступила в разговор хозяйка дома.

– Опять парадокс, Анна Петровна! – усмехнулась пожилая дама с глубоким декольте.

Анна Петровна молча склонила голову, как бы соглашаясь с обеими.

Я смотрел на эту женщину и вспоминал свои беседы с Пушкиным, его высказывания, звучавшие то мудро, то странно, перемены в его настроении, его чувства зачастую для меня непонятные и думал о тщете попыток понять душу ушедшего от нас великого поэта. Сидевшие рядом со мной люди, позабыли правило «De mortuis aut bene, aut nihil»[3]. Но вместе с тем нехорошо было бы льстить покойнику, тем более человеку, столь откровенному в своих суждениях и не любившему притворство, – а именно таким был Пушкин.

Тогда, за обедом, окруженный людьми светскими и родовитыми, я предпочел помалкивать, но наедине с собой, я могу предаться воспоминаниям и описать свои встречи с гениальным поэтом, сложным, непонятным, но таким привлекательным человеком – Александром Пушкиным. Я постараюсь не кривить душой, не приукрашивать того, что было и, тем более, не выставлять себя близким другом покойного. Простите неумелое перо мое за все досадные погрешности стиля, ибо я не обладаю и десятой долей таланта того, о ком пишу.

---

[3] О мертвых ничего, кроме хорошего

Глава 2

Кто из нас, бедных путешествующих по размытым, не чиненым российским дорогам, не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранился?

Кто, поддавшись бессильному гневу, не требовал от них злосчастной книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу? Кто не почитал их лентяями, пройдохами, а то и хуже – самыми настоящими разбойниками, извергами человеческого рода? Ох, знакомо и мне это дурное гневливое чувство, за которое заставил бы меня каяться и бить земные поклоны мой покойный батюшка, бывший священником в ***ской губернии. Однако именно российской распутице обязан я дивной встрече, сильно изменившей мою жизнь.

Встреча эта состоялась по чистой случайности. Мне пришлось выехать на волжские берега по делам, связанным с одним невеликим наследством. Уладив все обстоятельства, я возвращался в столицу, но из-за сильнейшего ливня застрял в пути и нашел приют на станции. Дождь барабанил в окно, нагоняя тоску. Смотритель спал в задней комнате, накрывшись тулупом, не обращая на меня никакого внимания. Из книг был со мной лишь труд Максимовича-Амбодика[4], известный мне чуть ли не наизусть, а потому со скуки я занялся рассмотрением картинок, украшавших стены этой скромной обители. Большая часть их не представляла никакого интереса: похороны кота, прелестница, рыдающая над чьей-то могилкой… Часть картинок изображала историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, вручая ему мешок с деньгами. В другой молодой человек, предавшись разврату, сидит за столом, окруженный собутыльниками и бесстыдными женщинами. Далее, вконец промотавшийся и печальный юноша, одетый в жалкое рубище, пасет свиней. Наконец представлено возвращение его к отцу, ничуть не изменившемуся за время его отсутствия.

Картинки эти я рассмотрел подробнейшим образом, прочел немецкие надписи под ними, выглянул в окно на тесный ряд однообразных изб, прислоненных одна к другой; понюхал кустик бальзамина на подоконнике, убедившись, что запаха он лишен вовсе, и теперь скучал и молил Бога привести ко мне интересного собеседника, чтобы скоротать долгий вечер.

Молитва моя была услышана! Небо ниспослало мне счастье, о котором я даже и мечтать не мог. Снаружи послышался шум. Сквозь забитое водой стекло я увидел, как кто-то торопливо выпрыгнул из тарантаса, вбежал на небольшое крыльцо и закричал:

– Лошадей!..

Но, как и ожидалось, никто ему не ответил. Вновь прибывший вошел, я слышал, как он открывает двери и заглядывает в комнаты, бормоча:

– Где же смотритель? Господин смотритель!..

Выглянула заспанная фигурка станционного смотрителя – заспанного лысого старичка в ситцевой рубашке, с пестрыми подтяжками на брюках…

– Чего изволите беспокоиться? Лошадей нет, и вам придется обождать часов пять. Вон, вы не одни такие. – Он указал на меня.

– Как нет лошадей? Давайте лошадей! Я не могу ждать. Мне время дорого! – возмутился приезжий.

Старичок хладнокровно прошамкал:

– Я вам доложил, что лошадей нет! Ну и нет. Пожалуйте вашу подорожную.

Приезжий серьезно рассердился. Он нервно шарил в своих карманах, вынимал из них бумаги и обратно клал их. Наконец он подал что-то старичку и спросил:

– Вы же кто будете? Где смотритель?

Старичок, развертывая медленно бумагу, с важностью ответил:

– Я сам и есть смотритель. – Он принял подорожную, внимательно в нее вчитываясь.

---

[4] Нестор Максимович Максимович-Амбодик – выдающийся российский медик, акушер, педиатр, ботаник, фитотерапевт втор. пол. XVIII – нач. XIX вв.

Далее почему-то внимание его обратилось на фамилию проезжавшего.

– Гм!.. Господин Пушкин!.. А позвольте вас спросить, вам не родственник будет именитый наш помещик, живущий за Камой, в Спасском уезде, его превосходительство господин Мусин-Пушкин?

Приезжий, просматривавший рассеянно почтовые правила, висевшие на стене, быстро повернулся на каблуке к смотрителю и внушительно продекламировал:

– Я Пушкин, но не Мусин!
В стихах весьма искусен
И крайне невоздержан,
Когда в пути задержан!
Давайте лошадей…

Он топнул ногой, словно балованное дитя, требующее у родителей конфету. Увы, этот блистательный экспромт не произвел никакого впечатления на зевающего старичка, который продолжал упрямо твердить, что лошадей нету.

Так мне открылось, с кем свела меня судьба. Я поднялся со своего места и первым делом представился, не преминув выразить свое восхищение талантом российского поэта. На лице Пушкина отразились смешанные чувства. Я не мог не заметить, что мои похвалы ему приятны, но в то же время его подвижное лицо выражало настороженность.

– Вы окажете мне большую честь, если согласитесь со мной отужинать, – предложил я, – в багаже моем есть бутылка хорошего рома, и если вы не против…

Пушкин не отвечал и внимательно меня разглядывал.

– А ответьте-ка мне, любезнейший Иван Тимофеевич. – вдруг спросил он, – пишете ли вы стихи?

Я опешил.

– Милостивый государь мой, с чего бы это? Не пишу и в жизни не писал!

– А ваша дочь? Племянница? Брат? Сын или какой другой близкий родственник или друг? – Он испытующе смотрел на меня.

– Помилуйте!!! С чего бы это?? – изумился я. – Я доктор, людей лечу…

Пушкин разразился громким смехом, немного напоминавшим лошадиное ржание.

– Ах, как это замечательно! Значит, вы не станете морить меня своими виршами и просить о протекции?

– Ни в коем случае не собирался, – улыбнулся я, поняв причину его веселья. – В моем приглашении если и есть корысть, то лишь такая, что я дорожу беседой с вами.

Пушкин снова расхохотался, что меня немало смутило.

– Что же такого в моих словах смешного вы находите, милостивый государь? – поинтересовался я, слегка обидевшись.

– Ах, простите меня! – тут же извинился Пушкин. – Не обижайтесь. Просто слова ваши о корысти напомнили мне один анекдот из моего собственного прошлого, когда моему авторскому самолюбию пришлось выдержать сильный удар. Я с радостью с вами откушаю, а заодно и расскажу эту забавную историйку. Коли нам предстоят томительные часы ожидания, то лучше провести их с удовольствием. Ром, говорите? Весьма кстати: проливной дождь вымочил меня до последней нитки.

Он оглянулся вокруг, посмотрев на висящие под потолком связки высушенных яблок.

– Эх, нет тут наверняка ничего, а то бы сварили мы с вами Бенкендорфа, ну а так ограничимся пуншем…

– Простите, не понял? – опешил я. – При чем здесь господин Бенкендорф?

Пушкин вновь расхохотался.

– Жженку, – пояснил он, – жженку сварили бы! А жженка подобно шефу жандармов имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок.

Две вещи поразили меня в этой его выходке – остроумие и неосторожность. Знал он меня немного, а о моих взглядах и вовсе представления не имел. И вот так вот осмеивать Бенкендорфа! А если донесу? Не мудрено, что при таком колком языке поэт слыл вольнодумцем и цензура не пропускала в печать многие из его произведений. Помнится, я что-то сказал на эту тему.

– Ох, уж эта мне цензура! – рассмеялся Пушкин. Мне показалось, что был он в веселом расположении духа. – Трусливая и чопорная дура! А что – неплохая рифма. – Он снова усмехнулся. – То ей слово «вельможа» не нравится… То слово «вольнолюбивый»…

А оно так хорошо выражает нынешнее liberal, оно прямо русское, и верно почтенный Шишков даст ему право гражданства в своем словаре вместе с шаротыком и с топталищем.

Славянофильские экзерсисы господина Шишкова были мне знакомы более или менее. Он называл топталищем тротуар, мокроступами галоши, а шаротыком – бильярд.

Обернувшись к смотрителю, Пушкин, предполагая изготовить пунш, велел поставить чайник, что и было тотчас исполнено. Мы уселись за стол, а смотритель неторопливо расставлял перед нами пожелтевшие кружки, тарелки с отколотыми краями, раскладывал ложки и прочее.

– Вы обещали мне анекдот, – напомнил я. – Какую-то историйку.

– Ах да… Это… Верно, обещал! – улыбнулся Пушкин. – Однажды остановился я обедать на почтовой станции в какой-то деревне. И тут является барышня очень приличной наружности, – Пушкин сделал жест, словно обрисовывая в воздухе женскую фигуру с округлыми формами, – и принимается говорить мне вещи приятные и восторженные. Мол, узнав случайно о проезде великого поэта, не могла удержаться от желания познакомиться со мной. Признаюсь, лесть ее меня купила, слушал я ее с удовольствием и сам с нею любезничал. На прощание барышня подала мне вязанный ею кошелек и ласково просила принять его на память о неожиданной нашей встрече.

– Милая барышня! – заметил я. – Вполне ее понимаю.

– Ох, сейчас вы узнаете, насколько она была мила, – подмигнул мне Пушкин. – После обеда сел я опять в коляску; но не успел еще выехать из селения, как догоняет меня кучер верхом и говорит, что барышня просит заплатить ей десять рублей за купленный у нее кошелек. – Пушкин развел руками. – Вот такой был мне урок!

– Ловкая барышня вам попалась! – Против воли я восхитился ловкостью проходимки. – Но как же это некрасиво с ее стороны!

– Сам виноват! – ухмыльнулся Пушкин. – Купился на смазливую мордашку да стройную ножку.

Чайник поспел. Мы сделали пунш и выпили по глоточку за здоровье бессовестной мастерицы-вязальщицы. Разговор продолжился. Признаться, я не могу похвастаться тем, что высказал тогда что-то особенно умное. Все изреченное мною сводилось к восхищению поэтическим талантом моего собеседника. Из оброненных им нескольких фраз я понял, что рифмовать, складывать слова в стихотворные строфы было для него делом столь же простым и естественным, как для нас, простых смертных, говорить прозой.

– Когда-то деловую бумагу на гербовом листе я написал стихами и ее не приняли в присутственном месте, – обмолвился Пушкин. – Молод был, очень молод. Пришлось переписывать, а писать просьбы дело очень скучное и неприятное.

Подали нам ужин – немудрящий. Входили же в него, однако, моченые яблоки, которые, как выяснилось, были излюбленным лакомством поэта. После того как мы вручили смотрителю мзду, он расщедрился и предложил нам суп из куропатки или жареную курицу. Это опять развеселило Пушкина.

– Люблю казаков за то, что они своеобразничают и не придерживаются во вкусе общепринятых правил. У нас, да и у всех, сварили бы суп из курицы, а куропатку бы зажарили, а у них наоборот! – И опять залился хохотом.

Теперь я мог внимательно рассмотреть наружность моего собеседника. Я знал, что ему должно было быть около тридцати лет, но выглядел Пушкин, пожалуй, старше. Юношеская

стройность уже исчезала в его фигуре, волосы сильно поредели; в движениях, однако, сквозила ловкость и сила. Его манера движения сразу обращала на себя внимание: это была смесь обезьяны и тигра. Немного смуглое лицо его было оригинально, но некрасиво: большой открытый лоб, длинный нос, толстые губы – вообще неправильные черты. Но что у него было великолепно – это темно-серые с синеватым отливом глаза – большие, ясные. Нельзя передать выражение этих глаз: какое-то жгучее и при том ласкающее, приятное. Голова его была несоразмерно велика с туловищем; лоб его показался для меня замечательным своею величиною; смуглый цвет лица, черные волосы, широкое скуластое лицо напомнили мне, что происходит наш великий поэт от арапа, воспитанного Петром Великим. Помнится, я упомянул об этом и даже попросил рассказать историю славного арапа.

– Да, родословная матери моей любопытна, – подтвердил Пушкин. – Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он аманатом[5], и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь сам крестил маленького Ибрагима. Наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. Судя по сохранившимся бумагам, это была мягкая, трусливая, но вспыльчивая абиссинская натура, наклонная к невообразимой, необдуманной решимости.

– Историки утверждают, что Петр его любил сильно, – вставил я.

– Да, это так, – согласился Пушкин. – А после смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меншиков нашел способ удалить арапа от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену. Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми был он связан. Судьба Долгоруких известна.

Конечно, я знал судьбу этого несчастного семейства, пытавшегося женить взошедшего на трон малолетнего внука великого Петра на одной из своих девиц и жестоко поплатившегося за свою дерзость – тюрьмой, пытками, ссылкой, плахой…

– Миних спас Ганнибала, – продолжил Пушкин, – отправя его тайно в ревельскую деревню, где и жил он около десяти лет в поминутном беспокойстве: до самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика. Когда императрица Елисавета взошла на престол, тогда Ганнибал написал ей евангельские слова: «Помяни мя, егда приидеши во царствие свое». Елисавета тотчас призвала его ко двору. – Он вдруг оборвал свой рассказ: – Но может вы расскажете о себе, Иван Тимофеевич? Так честнее будет: обо мне ходит много слухов и толков, и далеко не все они благовидные… А о вас я ничего и не знаю!

Скрывать мне было нечего. С предельной откровенностью я поведал Александру Сергеевичу свою нехитрую биографию. Что отец мой был священником и учился я поначалу в семинарии, а затем уж в Петербургской медико-хирургической академии. Похвастался я и тем, что окончил курс с золотой медалью и удостоился внесения своего имени на мраморную доску академии. Рассказал о службе своей в Морском госпитале, об учебе за границей за казенный счет, о том, что несколько лет назад занял кафедру и произведен в звание ординарного профессора зоологии и минералогии.

Пушкин слушал внимательно, не сводя с меня взгляда своих больших выразительных глаз. Странно смотрелись эти очень русские голубые глаза на его смуглом восточном лице.

Потом он стал задавать вопросы, особенно о заграничной моей учебе, на которые я отвечал честно и без утайки. Под конец Пушкин улыбнулся и поднял кружку с пуншем.

– Вижу человек вы неглупый и образованный. Думаю, вы поймете мою осторожность. Видите ли, давно уже положил я себе за правило при встрече с незнакомыми людьми думать

---

[5] Заложником.

о них все самое плохое, что только можно вообразить. Нет, это ни в коем случае не про вас! Но ошибался я не слишком часто.

Я тоже взял свой стакан и склонил голову, соглашаясь.

– Знание человеческой натуры не разрешает мне возразить вам. Часто под розой прячется червь…

– Под червем вы понимаете недуг или порок? – спросил Пушкин.

– Видите ли, Александр Сергеевич, помимо того что я врачую недуги телесные, приходится мне очень часто сталкиваться и с тем, что принято называть душевными заболеваниями. Подчас эти душевные уродства низводят людей ранее совершенно здоровых до состояния плачевного. Гибнут ум, талант, деятельность… С подобными плачевными примерами сталкиваюсь я почти что каждый день. В вас же свет истинного дарования просиял ярчайшим образом. И простите мне мою навязчивость, но беседа с вами замечательна для меня. Она является неким противоядием моей ежедневной рутине.

Пушкин вдруг погрустнел.

– Ваши слова о рутине меня огорчают. Я ведь часто даже завидовал вашему брату – ученым. Думал, светская жизнь пуста, глупа…

– Пустой мою жизнь не назовешь, это правда, – согласился я. – Но нам, медикам, частенько приходится сталкиваться с отвратительными явлениями нашей жизни. Я избрал благую часть – преподавание, студенты порой меня радуют. Но многим моим коллегам не позавидуешь. Да взять хоть моих коллег из Воспитательного…

Услышав про Воспитательный дом, Пушкин вдруг усмехнулся и признался, что однажды сам чуть не сдал туда, как он выразился, вы***ка.

– Да, стыдно, стыдно! Дурной я человек, – сказал он. – Увы, не гожусь в герои романтического произведения. Так что, боюсь я, дорогой мой друг, что не найдете во мне вы желанного противоядия.

– Ах, Александр Сергеевич! Не принимаете ли вы меня за невинную барышню? – возразил я. – Уж поверьте, изнанка жизни известна мне, пожалуй, более, чем другим. И я вовсе не представлял вас этаким святым или ангелом.

– Да, боюсь, что вы почитаете нас, стихотворцев. какими-то особенными людьми. Да только это не так, и жизнь моя вполне обыкновенна: просыпаюсь я поздно, потом разбираю книги, бумаги, привожу в порядок мой туалетный столик, одеваюсь небрежно, если еду в гости, со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы; если ж Вальтер Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылки шампанского во льду, смотрю, как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуясь, что обед стоит мне семнадцать рублей и что могу позволять себе эту шалость.

– Ну а днем? – спросил я.

– А что днем… – пожал плечами Пушкин. – Тоже ничего. Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему – он очень рад; нет – так он извиняет мне: «Повеса мой молод, ему не до меня».

Вечером я еду в театр, отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор, черные глаза; между нами начинается сношение – я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в шумном обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и все и где никто меня не замечает, или в любезном избранном кругу, где говорю я про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно; засыпаю, читая хорошую книгу. Вот и все!

Я вынужден был признать, что описанный день и впрямь скучный и вполне обыкновенный.

– Наверное, мои дни сильно отличаются от ваших, – предположил Пушкин.

Я подтвердил, что сильно, и по его просьбе стал описывать свои занятия: обход больных, лекции, библиотеку, статьи…

– А выходит, мы с вами собратья! – обрадовался Пушкин. – Оба пишем. Только вы пишете дельное, а я пустое…

Я принялся возражать, уверяя поэта, что его стихи и поэмы приносят радость таким скучным книжным червям, как я. Потом мы выпили за мои статьи и его поэмы.

– Хороший у вас ром, – похвалил Пушкин. – Давеча угощал меня один князь вином – препакостнейшим. И все выспрашивал, как мне оно кажется. Из вежливости, запинаясь, я похвалил эту кислятину, а он, приняв за чистую монету, обрадовался. Принялся хвалить свои погреба! «А поверите ли, что тому шесть месяцев нельзя было и в рот его брать?» – спрашивает.

– И что же вы?

– Тут же с ним согласился. Поверил сразу! – воскликнул Пушкин.

Анекдот меня посмешил. Но я желал не только насладиться остроумием великого поэта, но и услышать хоть что-то о том, как рождаются те прекрасные творения, коими он услаждает наш слух.

– Слышал я, что врачи, дабы приобрести знания об устройстве человеческого тела, – ответил Пушкин, – вскрывают тела умерших. Видать, вы и меня хотите вот так же вскрыть – заживо!

Я понял, что мы вышли на весьма скользкую почву, и от того, что я сейчас скажу, зависит, продолжится ли наш разговор, или же мой собеседник сейчас вновь примется уговаривать смотрителя выдать ему лошадей, несмотря на непогоду.

– Помилуйте! Я лишь пытаюсь найти приятный для вас предмет для беседы, – возразил я. – Я мог бы, конечно, заговорить с вами… ну хоть о люэсе, или о лечении гонореи индийским перчиком кубеба, но вряд ли вам будет интересен предмет…

Пушкин опять рассмеялся.

– Это словечко мне знакомо! Почему же вы решили, что беседа об этой болезни и замечательной сей пряности будет для меня безразлична? Сейчас я остепенился, а в бытность мою молодым отдал дань Венере сполна и выслушал бы вас со всем вниманием. Да еще совета бы спросил! Любви нас не природа учит, а первый пакостный роман, – с ухмылкой произнес поэт. – Приходится признать сию неприятную истину.

– Наверное, в этом отношении у поэзии преимущество… – вставил я.

Он на секунду задумался.

– Несомненно, вы правы! В отличие от романов поэзия представляет нам великое множество образчиков любви: беззаботное и веселое наслаждение жизнью со всеми ее чувственными радостями; грустное уныние, в котором скрыта своя особая сладость; наконец, мучительную и жестокую страсть, неотвратимую, как веление рока…

– И вы так свежо воспели это чувство! – подхватил я. – Эти ваши строки о гении чистой красоты…

– Ах нет! – остановил меня Пушкин. – Чужого мне не надо! Эта строка не моя, хоть я и посвятил ее одной блуднице вавилонской, которую с божьей милостью у*б.

Я опешил и совершенно потерялся. Подобные словечки доводилось мне слыхивать от своих студентов, но за то я их беспощадно гонял. Пушкин же, не обращая никакого внимания на мое изумление продолжил:

– «Гений чистой красоты» – не моя строка, автор ее – хороший мой знакомец Жуковский Василий Андреевич: «Ах! не с нами обитает / Гений чистой красоты; / Лишь порой он навещает / Нас с небесной высоты…» Но он не обиделся на мое заимствование!

Пушкин широко улыбнулся, показав два ряда безупречных белых зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. Он поднял руку к лицу, и я мог рассмотреть, что ногти он носил необыкновенно длинные, заостренные, из-за чего изящная кисть его напоминала лапу сказочного чудовища с когтями.

– Вы часто влюблялись? – вдруг спросил он меня. – Интересно, властна ли Венера над нашей профессурой?

– Про остальных говорить не стану, – подумав, ответил я. – Но папинька мой воспитывал нас, своих детей, в строгости и сумел привить нам моральные правила, немало помогавшие мне потом, во время учебы.

– Но вы любили? Или нет? – продолжал допытываться Пушкин.

– Думал, что любил, – согласился я. – И я давно уже счастливо женат. Но страсти и любовного безумия в моем романе не было. Мое чувство было совсем иным, нежели то, что описано в ваших стихах. Читая ваши строки, я сомневаюсь, начинаю предполагать, что от меня было сокрыто нечто особенное…

– Ах, это счастье, наверное, родиться с холодным рассудком и спокойной кровью! – воскликнул Пушкин.

– Но вы сами вряд ли хотели бы такого счастья, – заметил я. – Насколько я понимаю, вашим любовным увлечениям обязаны мы рождением поэтических шедевров.

– Вы льстец, сударь мой! – остановил меня Пушкин. – Не перегибайте палку, а то я заподозрю вас в неискренности. Хотите, я буду совершенно откровенен? Может быть, я изящен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно, и наклонности у меня вполне мещанские. Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, это и короче, и гораздо удобнее!

– Возможно, вы слишком к себе несправедливы, – заметил я. – Я помню слова ваши “Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон в забавы суетного света он малодушно погружен”, но ведь вас посещает вдохновение, и из-под пера вашего выходят строки, сделавшие вас гордостью России.

Пушкин кивнул.

– Я ударил о наковальню русского языка, и вышел стих – и все начали писать хорошо, – с гордостью и очень серьезно ответил он. – Под известный каданс стихов можно наделать тысячи, и все они будут хороши, но чтобы создать нечто замечательное, нужно все же вдохновение, особый полет души. Бывает, что, лишенный этого, я не пишу месяцами… Это такая тоска!

Мы выпили еще.

– Но что же является источником этого вдохновения? – не унимался я. – Влюбленность?

– Наверное… Часто, да! – задумался Пушкин. – Меня Амур ранил не раз! Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых знал. Все они изрядно надо мной посмеялись; все, за одним-единственным исключением, кокетничали со мной.

– И всем им вы посвящали стихи? – спросил я.

– Не всем, но многим! Замечу, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. В этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщин уважать вас… Однако забава эта достойна старой обезьяны осьмнадцатого столетия. Иное дело та женщина, которую полюбишь всем сердцем…

Я молчал, надеясь услышать что-то еще. Ожидания мои не обманулись.

– Как скоро мне понравится женщина, то уходя или уезжая от нее, я долго продолжаю быть мысленно с нею, – продолжил Пушкин, – и в воображении увожу ее с собою, сажаю ее в экипаж, предупреждаю, что в таком-то месте будут толчки, одеваю ей плечи, целую ей руки… – Прекрасные голубые глаза Пушкина затуманились. – Впервые я испытал любовь еще совсем ребенком. Помню тенистый Юсупов сад… Аллеи… По четвергам меня возили на знаменитые детские балы танцмейстера Иогеля. Было мне лет шесть… может, девять. Позже в стихах я припомнил этот полузабытый эпизод: «Подруга возраста златова, / Подруга красных детских лет, / Тебя ли вижу, – взоров свет, / Друг сердца, милая…» – Он замолчал.

– Кто? – не удержался я.

– Не важно! – оборвал он. – Ведь мы были дети.

Я испугался, что своим неосторожным замечанием разрушил его откровенность и ничего более не услышу, потому я осторожными фразами навел Пушкина на тему Лицея, где вот уже много лет служил мой хороший знакомый Франц Осипович Пешель.

– Ах, как его не помнить! – рассмеялся поэт. – Этот добрый человек лечил нас нехитрыми настойками, не причинявшими вреда. Не уморил – и на том спасибо!

Эти воспоминания были поэту приятны. Он вспомнил 19 октября, день, назначенный для открытия Лицея, торжество, начавшееся молитвой, обедню и молебен с водосвятием.

– Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все заведение. После император поблагодарил всех, начиная с министра, и пригласил императриц осмотреть новое его заведение. За царской фамилией двинулась и публика. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно с нетерпением ожидали. Осмотрев заведение, гости Лицея возвратились к нам в столовую и застали нас усердно трудящимися над супом с пирожками. Царь беседовал с министром. Императрица Марья Федоровна попробовала кушанье. Подошла к одному из нас, оперлась сзади на его плечи, чтоб он не приподнимался, и спросила его: «Карошсуп?» Он медвежонком отвечал: «Oui, monsieur!» Сконфузился ли он и не знал, кто его спрашивал, или дурной русский выговор, которым сделан был ему вопрос, – только все это вместе почему-то побудило его откликнуться на французском языке и в мужеском роде. Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше любезных вопросов, а бедняга попал на зубок; долго преследовала его кличка: monsieur.

Я послушно рассмеялся. Рассказ и в самом деле был забавен.

– Вечером нас угощали десертом вместо казенного ужина. Кругом Лицея поставлены были плошки с иллюминацией, а на балконе горел щит с вензелем императора. Сбросив парадную одежду, мы играли перед Лицеем в снежки при свете этих огней и тем заключили свой праздник, не подозревая тогда в себе будущих столпов Отечества, как величал нас директор в своей речи. Как нарочно для нас, тот год рано стала зима, снега было вдоволь.

– В строгости вас держали? – поинтересовался я.

– Не могу этого сказать, – честно ответил Пушкин. – Нам довольно часто устраивали праздники. Война двенадцатого года подпортила нам веселье: Лицей чуть было не эвакуировали, когда французы были в Москве… Да вовремя пришла депеша, что Наполеон отступает.

– Волнующее было время! – проговорил я. – Но какое славное!

– Да, я помню, как полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri – Quatre, тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество»! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута! – Глаза Пушкина пылали восторгом. – Женщины, русские женщины, были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: ура! «И в воздух чепчики бросали».

– Вы были влюблены в Лицее? – спросил я.

Пушкин ухмыльнулся. Выражение лица его ясно показало, что готовится рассказать он мне нечто скабрезное.

– В старших классах Лицея, когда надзор ослабел, мы почти беспрепятственно получали разрешения отлучаться в город, где водили компанию с царскосельскими гусарами и посещали театр графа Толстого. Театр тот был хоть и невелик, но роскошен. Места были построены амфитеатром, полукругом… Занавес тяжелый, шитый золотною вязью. Капельдинеры из графских крестьян в ливрейных фраках с разноцветными воротниками. За кулисами я имел возможность познакомиться с доморощенными Венерами, Лаисами, Делиями, Хлоями и прочими носительницами мифологических и пасторальных псевдонимов. Одной такой крепостной миловидной жрице Тальи писал я мадригал: «Видел прелести Натальи/ И уж в сердце Купидон!» Боюсь, оказал я девице плохую услугу, ее чуть не выпороли за мои стишки: была она метрессой графа и он вздумал ревновать. Но после

понял, что глуп, и даже возгордился, что его рабам-актеркам поэты стансы слагают, совсем как в настоящем театре. Дикое барство!

Он взгрустнул, вспоминая.

– Вот вы говорили о любви, была у меня одна знакомая, наружность которой не составляла ничего примечательного. Отличал ее непомерно длинный нос, глаза, которые становились то хороши, то глупы, да крошечная ножка, словно у ребенка. Барышня эта почитала себя очень умной и охотно рассуждала о свободе, твердя, что свобода народа есть желание сильнейшее ее души. Была она врагом рабства и мечтала запретить однажды навсегда явную и тайную продажу людей и позволять мужикам откупаться на волю за условленную цену. Не мудрено, что при таком уме осталась она старой девой. Впрочем, глаза ее были хороши! «Потупит их с улыбкой Леля, / В них скромных граций торжество; / Поднимет – ангел Рафаэля / Так созерцает божество». Сказать правду, тогда она была влюблена в меня и бросала мне такие взгляды, что я чуть-чуть не женился.

– За чем же дело стало?

– Я заболел и более месяца пролежал в постели, но зато оставил ее свободной и от болезни, и от любви…

– Смотрю, вы не ценитель умных женщин! – заметил я.

– Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив, – со смехом ответил Пушкин. – У женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости; вот почему так легко изображать их. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы.

– Как вы неуважительно отзываетесь о женском поле, – заметил я. – Однако же на протяжении почти целого столетия Российской империей правили женщины.

– И самая великая из этих жен не была свободна от пороков своего пола, – ответил он. – Впрочем, самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве… Ох, загонит меня язык мой за Дунай! А может, и за Прут, – осекся он.

– Суждения ваши смелы и крайне неосторожны, – согласился я. – Но вы можете рассчитывать на мою скромность. Однако вернемся к теме безопасной. Мы говорили об учебе вашей в Лицее и о первых ваших влюбленностях.

– И уже тогда я имел неприятности! Дурная слава обо мне дошла до государя, хотя виной тому был сущий пустяк, – признался Пушкин. – Нравилась мне еще одна прелестная Наташа – горничная фрейлины Валуевой. Однажды мне попалась навстречу в темном коридоре дворца какая-то женская фигура. Уверенный, что передо мной хорошенькая горничная, я довольно бесцеремонно обнял ее и, на беду свою, слишком поздно заметил, что это сердитая старая дева княжна Волконская. Она пожаловалась, и сплетню эту передали государю. Но директор Лицея выпросил мне прощение. В сущности, любовь эта была еще настоящим мальчишеством.

По его выразительному лицу прошла тень легкой печали, словно он грустил о днях ушедшей юности.

– А после?

– Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и прочему, но все это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу. Встречался я там и со своим дедом. Помню, у него в доме за обедом подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился – и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. А пить он был горазд! Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз пять или шесть до обеда.

После этих слов мы снова выпили на сей раз за упокой души старого арапа.

– Вскоре переехали мы в Петербург, – продолжил Пушкин, – и началась безудержная жизнь: балы, театры, пирушки. На поэзию почти не оставалось времени. Жуковский и Батюшков искренне тревожились за мое будущее. Ничто не могло остановить меня: ни недостаток средств, ни благие советы друзей, ни постоянная опасность стать «жертвой вредной красоты» и живым подобием Вольтеровского Панглоса. Шампанское, актрисы и другие… гхм… крестницы Кипр иды… – с упоением вспоминал он. – То пьется, а те е***ся. А соберемся за картами, играли – мел столбом!

Деньги сыплются! Ох, эти забавы часто выходили мне боком! Не раз я неделями валялся в постели с лекарствами в желудке, с меркурием в крови, с раскаянием в рассудке…

– Ненадолго, видать хватало вашего раскаяния! – укоризненно заметил я.

– В этом вы правы, – покаянно согласился он. – Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не тяжелая болезнь, которая, остановила на время избранный мной образ жизни.

– А что была за болезнь? – деловито осведомился я.

– Ах, то и дело забываю, что передо мной лекарь! – воскликнул Пушкин. – Я вам, милостивый государь, толкую о прелестных дамах, о Хлое, о Лаисе, о жрицах наслаждения… Вы слушаете и скучаете. А стоило упомянуть о горячке – как тут же оживились! Я простудился, дожидаясь у дверей одной б…, которая не пускала меня в дождь к себе для того, чтобы не заразить своею болезнью. Избегнув одного, я приобрел другое – не лучшее. Гнилая горячка долго держала меня на грани жизни и смерти. Лейтон за меня не ручался. Родители мои были в отчаянии.

– Вы упомянули Лейтона? – заинтересовался я. – Яков Иванович – главный врач русского флота, лейб-медик монаршего двора, академик – врач сильный. И коли даже он не ручался за ваше выздоровление, значит дело было серьезно…

– Но он все же меня вытащил! – перебил меня Пушкин. – Лейтон тогда применил только начинавший входить в практику жаропонижающий метод – ванны со льдом – метод хоть и действенный, но очень опасный. Поправлялся я медленно и почти всю зиму не выходил из дому. Знаете, чувство выздоровления – одно из самых сладостных. Я писал тогда «Руслана и Людмилу», много читал, носил полосатый бухарский халат, а на обритой голове – ермолку. Не усидев дома, я явился в театр, прикрыв бритую голову париком. Но в нем было безбожно жарко, и, не стерпев, я принялся обмахиваться им, словно веером. Общество было скандализовано! – он принялся заразительно смеяться.

Я вторил ему, представив эту забавную сцену.

– Вскоре я стал почетным гражданином кулис, – с некоторой гордостью произнес Пушкин. – Пред началом оперы, трагедии, балета гулял по всем десяти рядам кресел, ходил по всем ногам, разговаривал со всеми знакомыми и незнакомыми. «Откуда ты?» – «От Семеновой, от Сосницкой, от Колесовой, от Истоминой». – «Как ты счастлив!» – «Сегодня она поет – она играет, она танцует – похлопаем ей – вызовем ее! она так мила! у ней такие глаза! такая ножка! такой талант!..» И вот, сговорившись, мы восхищались и хлопали часто тому, что восхищения и не заслуживало. Порой певец или певица, заслужившие любовь нашу, фальшиво дотягивали арию Боэльдье или della Maria. Знатоки примечали, любители чувствовали, но молчали из уважения к таланту. Не хочу здесь обвинять пылкую, ветреную молодость, знаю, что она требует снисходительности. Но можно ли полагаться на мнения таковых судей? Тогда на сцене еще блистала стареющая Семенова. На меня она действовала не столько своей величавой красотой, сколько обаянием таланта. Некоторое время я безуспешно приволакивался за нею, то есть почитал себя влюбленным без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии, а ей посвятил критические заметки о русском театре. Писались ли они по вдохновению, природу которого вы пытаетесь разведать? Не знаю. Впрочем, записки эти я не закончил, бросил, подарив рукопись Екатерине Семеновне. Там были о ней восторженные строки, но единодержавная царица трагической сцены не соблазнилась, благоразумно предпочтя мне князя Гагарина. Ухаживая за нею, я снова схватил злую горячку, и снова любящие меня люди опасались за мою жизнь. Ох, только не заставляйте меня вспоминать подробности этой болезни! Вижу, вижу непритворный интерес

в ваших глазах! Но, помилуйте, болезни – это очень скучно. Довольно с вас того, что я ускользнул от Эскулапа, худой, обритый – но живой…

– Вы, Александр Сергеевич, явно не из тех, кто любит жаловаться на свои недуги, – заметил я, – а других хлебом не корми, дай порассказать, как жестоко их мучило несварение желудка.

– Но это уж совсем неаппетитная тема! – рассмеялся он. – Но не наскучил ли я вам?

Я горячо заверил Александра Сергеевича, что беседа наша для меня крайне интересна.

– Вот я пересказываю вам все эти сплетни, а вы потом станете развлекать ими своих друзей? – вдруг спросил он.

– Помилуйте! Как можно! – искренне оскорбился я. – Александр Сергеевич, как медику мне известно о людях столько, что, не умея я держать язык за зубами, мог бы не одну карьеру порушить. Да только лекарская карьера испокон веку держалась на молчании и скромности. Мы тайну исповеди блюдем почище, чем попы.

– Рад это слышать, – улыбнулся Пушкин. – Я мог бы рассказать вам еще и о прелестной Дориде… Но нет, – он вдруг помрачнел, – это еще не зажило. Словом, я весело жил в столице около двух лет, но потом все кончилось и мною овладела хандра или, если хотите – меланхолия. «И ты, моя задумчивая лира, / Найдешь ли вновь утраченные звуки», – процитировал он. – Писать я не мог и разучился влюбляться… А тут как раз меня первый раз и сослали.

Я, немного наслышанный об этом неприятном времени из биографии поэта, сочувственно кивнул.

– Я был выпровожен из столицы и направлен якобы для несения службы на юг, под начальство генерала Инзова, – продолжил Пушкин. – Надо признаться, я выехал из Петербурга смертельно утомленный разгульной жизнью. Дней десять спустя добрался я до Екатеринослава, где находилась в это время инзовская канцелярия.

Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Оказалось, что к тому времени мои стихи знали уже и в Екатеринославе! Ох, обидел я своих поклонников… Это были молодой профессор Екатеринославской духовной семинарии и какой-то местный помещик. Нашли они лачужку, мною занимаемую, и обнаружили меня в халате, в раздраженном состоянии, с булкой с икрой в руках и со стаканом красного вина. «Что вам угодно?»– спросил я вошедших. И когда последние сказали, что желали иметь честь видеть славного писателя, то скверный славный писатель отчеканил следующую фразу: «Ну, теперь видели?.. До свиданья!..»

– Ах, и что же? – спросил я. – Так они и ушли?

– Ушли… – развел руками Пушкин. – Несолоно хлебамши. Нехорошо вышло… Но я был болен тогда! Днем позже в той же убогой хате нашел меня и генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, – в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам; лекарь, коллега ваш, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить; Инзов благословил меня в счастливый путь – я лег в коляску больной, через неделю вылечился.

– Что же то за дивный доктор вам попался? – Мне стало не на шутку интересно.

– Фамилия его была Рудыковский, звали Евстафием Петровичем, – ответил Пушкин. – Теперь он где-то в Киеве. Вот он в отличие от вас стихи пишет!

– Евстафия Петровича я знаю хорошо, – признался я. – И что же, хороши ли его стихи?

– Неплохи, – признал Пушкин. – Многое из того, что у нас печатают, похуже будет. Особенно сказки хороши.

Дождь за окном не унимался.

– Вы любите дождь? – спросил меня поэт.

– Не слишком, – признался я. – Еще с тех лет, когда мне, невзирая на погоду, приходилось спешить к больному…

– Понимаю. Я – лентяй, был избавлен от этих хлопот и дождь люблю. Только б ветер выл не так уныло…

В этот час на станцию прибыл еще один путешественник. Чиновник пятого класса громко требовал лошадей и тыкал смотрителю в лицо подорожную. Он был толст, немолод, премного доволен собой и заглушал своим говором все другие шумы и звуки. Выяснив, что все же и ему придется подождать некоторое время, он без приглашения плюхнулся за наш стол на свободное место и, коротко представившись, принялся рассуждать о пользе винопития. Комната была одна, общая, да и стол единственный, а потому выгнать мы его возможности не имели. Я старательно изображал приветливость, Пушкин, не таясь, зевал.

Чиновник был из тех болтунов, что почитают себя за самых умных. Он договорился до того, что начал доказывать необходимость употребления вина как самого лучшего средства от многих болезней.

– Особенно от горячки, – заметил Пушкин.

– Да, таки и от горячки, – возразил чиновник с важностью, – вот-с извольте-ка слушать: у меня был приятель… так вот он просто нашим винцом себя от чумы вылечил, как схватил две осьмухи, так как рукой сняло.

При этом чиновник зорко взглянул на Пушкина, как бы спрашивая: ну, что вы на это скажете? У Пушкина глаза сверкнули; удерживая смех и краснея, отвечал он:

– Быть может, но только позвольте усомниться.

– Да чего тут позволять? – возразил грубо чиновник. – что я говорю, так так, а вот вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится.

– Да почему же? – спросил Пушкин с достоинством.

– Да потому же, что между нами есть разница.

– Что же это доказывает?

– Да то, сударь, что вы еще молокосос.

– А, понимаю, – смеясь, заметил Пушкин. – Точно, есть разница: я молокосос, как вы говорите, а вы виносос, как я говорю.

Надо признаться, что в тот момент обуял меня страх: чем окончится эта дерзость? Доносом или, быть может, дуэлью? Пушкина я легко мог представить со шпагой или пистолетом в руке, а вот этого толстого винососа – вряд ли. И тут в передней послышался смех: это смеялся старый смотритель. И вслед за ним я тоже рассмеялся. Чиновник побагровел и негодующе обернулся: старик тут же спрятался за занавеской.

– Лошадей! – рявкнул на него ошалевший «виносос». – Эй ты! Коли не дашь мне сейчас лошадей!…

Последовала довольно неприятная и бурная сцена. Увы, полагавшиеся нам отдохнувшие лошади достались «винососу», путешествовав – шему по казенной надобности и со срочным предписанием. К моему удивлению, Пушкин отнесся к этому весьма спокойно.

– Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина, – объяснил он свое равнодушное отношение к этому происшествию. – Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила – чин чина почитай – ввелось в употребление другое, например: ум ума почитай? Какие возникли бы споры! И слуги с кого бы начинали кушанье подавать?

Я так и не понял, серьезно он говорил или шутил, но смотрителя его слова позабавили.

– Да только уедет он недалеко, только кляч заморит, – пробурчал старичок. – Дорогу-то развезло.

– Что же нам, ночевать тут? – расстроенно спросил его Пушкин.

– А коли ночевать, то и пожалуйста, – не моргнув глазом, ответит смотритель. – Места много. Завтра поедете. Может, вам еще что подать?

– Да что ж ты нам подашь? – Пушкин обернулся на опустевшую бутылку рома, с сожалением ее рассматривая. – Ох ты, виносос все выдул!

– Не извольте сомневаться, – буркнул смотритель. – Что подать, мы найдем, ну а коли вы… – И он намекающе потер большим пальцем о средний и указательный.

– Вот так на станциях обирают честных людей! – шутливо вознегодовал Пушкин. – Да что же у тебя есть?

Нашлась анисовая водка. Пушкин потребовал еще моченых яблок – принесли и их. И пирушка наша продолжилась.

– Ишь ты – дороги развезло! Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее о них заботились, – рассуждал Пушкин. – Например: дерн есть уже природная мостовая; зачем его сдирать и заменять наносной землею, которая при первом дождике обращается в слякоть? Поправка дорог, одна из самых тягостных повинностей, не приносит почти никакой пользы и есть большею частью предлог к утеснению и взяткам.

В ответ я заговорил о чудеснейшем московском шоссе, выстроенном покойным уже Августином Августиновичем Бетанкуром, замечательным инженером, с коим мне довелось быть лично знакомым. Пушкин спорить со мной и хулить отличнейшее шоссе не стал, напротив, заинтересовавшись предметом, стал спрашивать об этом моем знакомстве. Потом Александр Сергеевич задал мне какие-то вопросы по медицинской части, и в ответ я уж не помню почему, похвалил действие серных вод. Пушкин, к моему удивлению, смеяться над этой методой не стал, хоть медицину и не уважал.

– Два месяца жил я на Кавказе, – рассказывал мне Пушкин, – воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кислосерных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Ах, как великолепна цепь этих гор! Ледяные их вершины издали, на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными. В то время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость… Кавказские воды представляют ныне более удобностей, но мне жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался.

Но славные тифлисские бани еще лучше! – От вина, от тепла, от приятных воспоминаний щеки у Александра Сергеевича зарумянились. – Тогда я самовольно взял подорожную до Тифлиса, а потом двинулся дальше и с действующей армией дошел до турецкого Арзрума! – Он довольно улыбнулся, гордясь своей выходкой. А ведь она могла обернуться для него многими неприятностями. Но я уже понял, что это Пушкина не останавливало никогда.

*** * ***

Здесь край листа оторван и несколько предложений пропало из рукописи. Далее Пушкин сразу переходит к визиту своему в баню.

– Пришел я в бани во вторник, оказалось – женский день. Но старый персиянин открыл мне двери, и я лицезрел более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых. Я остановился. «Пойдем, пойдем, – сказал мне хозяин, – сегодня женский день. Ничего, не беда». – «Конечно не беда, – отвечал я ему, – напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею чадрою; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны, – взгляд

Пушкина стал на мгновение мечтательным, – зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Я, поцокав языком, согласился, конечно, не став распространяться, как мне довелось пользовать старую грузинскую княгиню.

– Персиянин ввел меня в бани: горячий железо – серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале, и оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу, – Пушкин шутливо задел пальцем кончик своего собственного носа, – это не мешало ему быть мастером своего дела. Он начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! Шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

Я признался, что рассказ его очень интересен, и принялся расспрашивать о Тифлисе, где не бывал никогда.

– Климат тифлисский нездоров, – умерил мои восторги Пушкин. – Вода там мутная и сильно отзывается серой, потому они и предпочитают ей вино. Тамошние горячки ужасны; их лечат меркурием, коего употребление безвредно по причине сильной жары. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести.

Тифлисский военный губернатор, говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оного больному. Тамошние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.

– Вы и там меркурий принимали? – поинтересовался я.

– И в немалых дозах! – рассмеялся Пушкин.

Он вдруг стал серьезным.

– Повидал я много в том путешествии. Дошел до Азрума, видел там чуму и сбежал, испугавшись карантина. Удивительный народ – турки! Они раздевали, щупали больных, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости. Повстречался я и со своим старым знакомым генералом Раевским! Чудесный человек! Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная. Ах, как я был счастлив с ними в Крыму! Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, – счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, – горы, сады, море…

– Простите меня, Александр Сергеевич, – взмолился я, – рассказываете вы чрезвычайно интересно, однако не успеваю уследить за вашей мыслью: только что был Кавказ, потом Тифлис, Арзрум… а теперь Крым?

– Простите меня, – улыбнулся Пушкин, – вечный мой недостаток: не умею я подолгу говорить об одном, мысли прыгают, словно блохи. Многие меня за это упрекали. И правда – рассказывал я вам о Кавказе, о сторожевых станицах, о том, как любовался я нашими казаками. – Голубые глаза Пушкина загорелись непритворным восхищением. – Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас ехало с полсотни казаков, за нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца.

– Справедливо, – заметил я.

– Рад, что и вы так считаете, – поддержал меня Пушкин. – А ведь мне довелось повидать и генерала Ермолова, который наполнил Кавказский край своим именем и

благотворным гением. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. – Пушкин прищурился, вспоминая подробности. – Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает свой портрет, писанный Довом. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче, и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. Я пробыл у него часа два. Сколь много сделал Ермолов для России! Благодаря его гению дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои – излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах – и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии.

И тут мы от всего сердца выпили анисовой за осуществление этих планов. Пушкин вдруг отчего-то стал серьезен. Оказалось, что во время того памятного путешествия в Арзрум встретил он нескольких грузин с арбой, везших тело Грибоедова, убитого в Тегеране. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею. Понимая, что мрачные мысли могут привести к окончанию столь приятного для меня разговора, я постарался развлечь его, заговорив о вещах приятных и веселых. Но попытка моя не возымела успех. Было уже очень поздно, и глаза слипались у нас обоих. Однако решение наше отправиться на боковую успеха не возымело из-за извечной российской беды – клопов и блох. Проворочавшись с полчаса и раздавив по нескольку отвратительных насекомых, мы оба снова оказались за тем же столом перед недоеденной курицей с мочеными яблоками и недопитой бутылкой анисовой.

– Ну что за вечер, – сетовал Пушкин, – то виносос, то кровососы… Ах, эти блохи куда опаснее шакалов!

Мне вновь удалось разговорить его, разжалобив описанием того, как однообразна жизнь университетского профессора и как мне радостны его рассказы. Пушкин, как мне показалось, с радостью возвращался мыслями ко дням молодости.

Я заметил, что настроение его менялось до крайности часто. Потом, несколько лет спустя, один не очень уже молодой человек, наш общий знакомый, подтвердил это мое наблюдение. По его словам, Пушкин был очень неровен в обращении: то шумно весел, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен; и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту.

*** * ***

Здесь в рукописи снова наличествует перерыв: один из листов залит чернилами так, что слов почти невозможно разобрать. Из сохранившейся части записей можно понять, что собеседники пели песни, в числе которых была и любимая А. С. Пушкиным «Капитанская дочь». Мой родственник приводит слова второго куплета: «… скок на ледок, подломился каблучок, /Подломился каблучок, я упала на бочок….»

Далее А.С. Пушкин продолжает рассказ, но уже о Крыме.

Глава 3

– С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма, – вспоминал он. – Из Азии переехали мы в Европу на корабле. Хороша была жизнь в Крыму! Женщин там было мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что, преданный мгновенью, мало заботился я о толках петербургских…

– Забыть о толках – это счастье, – подтвердил я.

– Побывал я на так называемой Митридатовой гробнице, это развалины какой-то башни, – рассказывал Пушкин, – там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи – и только.

Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа – огромный Аю-Даг… и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный…

На полуденном берегу в Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского lazzaroni. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество.

– Слышал я, что кипарисы завезли в Тавриду еще древние греки, – слегка уже запинаясь, проговорил я. – Они высаживали кипарисы на кладбищах, но крымские горные дороги настолько опасны… – И мы оба выпили за древних греков.

– Видел я и баснословные развалины храма Дианы, – вспомнил Пушкин. – Видно мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических: там посетили меня рифмы. Я не сочинял, я думал стихами. Вот вам и вдохновение!

Были мы оба уже не вполне трезвы. Пушкин декламировал:

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурною чредою,
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

– О ком это? – спросил я.

– Ах, прелестная, совсем юная Мария Раевская, Машенька черноокая! – ответил поэт. – Был ли я влюблен, спросите? Не знаю. Впрочем, как поэт, я считал долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми встречался, и Маша это понимала.

Теперь она схоронила себя в Сибири… А тогда… Она ехала в карете с англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, они приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и мадемуазель Раевская стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала ее – убегала. Кончилось тем, что она промочила ноги, но никому, проказница, об этом не сказала. – Он мечтательно улыбнулся.

Уже много позже я узнал, что среди странностей поэта была особенная страсть к маленьким ножкам, о которых он в одной из своих поэм признавался, что они значат для него более, чем сама красота. Но в тот момент мои размышления о женских ножках были оборваны внезапным вопросом:

– А вот скажите, Иван Тимофеевич, сейчас я вам толковал о Сибири… Быть может, вам сие неприятно? И вы подумали, как я ужасен, водил дружбу с бунтовщиками?

– Я не настолько ограничен, – обиделся я. – Знаю, что люди вашего круга почти все были знакомы с… заговорщиками. Четырнадцатое декабря я помню хорошо, помню толпу вокруг Сенатской площади, крики толпы, пересуды, выстрелы… Студенты мои много обсуждали это промеж собой, да некоторых из них я гонял за то, что полезли они на крыши смотреть сие убийственное действо. Помню крики черни «Ура, Конституции, супруге Константина…» Тьфу… Симпатий я к бунтовщикам не испытываю, смерть Милорадовича и еще многих невинных – на их совести. Но пожалеть их по-христиански могу.

* * *

В этой фразе ярко проявилось отсталое, реакционное мировоззрение моего прадеда, простительное, впрочем, для человека его времени и его круга. Далее записи продолжаются, но без связи с предыдущим замечанием, и мы не можем знать, какую отповедь получил мой прадед за свое неуважительное отношение к героям-декабристам.

* * *

Светало. Дождь прекратился, но дорогу развезло, и все указывало на то, что ждать нам придется долго, прежде чем мы сможем продолжить свой путь. Анисовка кончилась, и теперь, запивая хмель, цедили мы какой-то кислый квас, поданный нам смотрителем за неимением чая. Пушкин с явным удовольствием грыз моченое яблоко и перекидывался со мной вялыми замечаниями о дурном качестве российских дорог, не позволяющем нам покинуть этот обильный клопами приют.

– Возьмите первого мужика, хотя крошечку смышленого, и заставьте его провести новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророет два параллельных рва для стечения дождевой воды, – говорил он. – Лет сорок тому назад один воевода вместо рвов поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно.

«Долго ль мне гулять на свете / То в коляске, то верхом, / То в кибитке, то в карете, / То в телеге, то пешком?» – вспомнил я его строки, наводящие уныние.

– Вам приходилось много путешествовать, Александр Сергеевич? – спросил я.

– Поездил я изрядно по российскому бездорожью, – согласился он. – В течение двадцати лет кряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени. А вот за границей не бывал. Не пускают! – пожаловался он.

– Вы так хорошо говорили о Крыме, о Кавказе…. А куда вы направились после этого?

– В Содом – Кишинев, – с гримасой ответил он.

– Почему вы зовете этот город Содомом? – удивился я.

– Ах это… – Пушкин слегка смутился. – Так уж повелась… давнишняя шутка… Впрочем, это совершенно не важно! Служил я там под началом генерала Инзова. Да я вам о нем говорил! Инзов был славный старик! Меня он любил и баловал. Была у него ручная сорока, я нашел средство выучить ее многим неблагопристойным словам, и несчастная тотчас осуждена была на заточение. Но и тут старик не умел серьезно рассердиться!

О славном генерале Иване Никитиче Инзове был я премного наслышан! Ходили слухи, что был сей доблестный генерал внебрачным сыном великой государыни Екатерины Алексеевны. Так ли это, не знал никто, но легенду эту Инзов не посрамил, прославившись во время Отечественной войны. Был он храбр, честен, справедлив и снискал заслуженный почет

и уважение.

В Кишиневе мне приходилось бывать проездом. Я запомнил его довольно своеобразным городом. Присоединенный к России всего за десять лет перед тем, он хранил многочисленные остатки недавнего турецкого владычества.

– Редко я там слышал живое слово европейское, – подтвердил Пушкин.

Город разделялся на две главные части, известные под именем Старого и Нового базара. Старый город расположен на самом прибрежье речки Быка, в мутных водах которой барахтались благородные гуси. По расположению и постройке он напоминал скорее малороссийское селение, нежели город, несмотря на то что в этой части находилось Верховное правление и дом полномочного наместника. Новый же город, занимая плоскую возвышенность, расположен правильно, выключая особой улицы, называемой Булгария по имени своих поселенцев болгар. Жили там многочисленные беженцы, спасавшиеся от турецкой резни христиан.

– Живописный азиатский колорит в Кишиневе чувствовался во всем, – вспоминал Пушкин. – Знатные молдавские бояре еще носили бороды, чалмы и красивые восточные одежды. Но младшее поколение уже успело обриться и надеть европейские фраки. Молдаванки и гречанки, еще недавно содержавшиеся в строгом, почти гаремном затворе, внезапно познакомились с европейской цивилизацией в образе маскарадов, балов, французских романов и мод, привозившихся из Вены, а то и прямо из Парижа. Кишиневские дамы были страстны, влюбчивы и доступны. Это был мир бездумья и легких наслаждений. Инзов дважды сажал меня там под арест, – объявил поэт. – Оба раза из-за прекрасных дам. Одну из них звали Людмилой, была она по крови цыганка, но жена богатого помещика. От нее я слышал песню: «Старый муж, / Грозный муж, / Режь меня, / Жги меня…»

Песня оправдалась: ее злобный муж узнал обо всем, запер ветреную цыганку в чулан и вызвал меня на дуэль. Но своевременно предупрежденный Инзов посадил меня на десять дней на гауптвахту, а чете Инглези предложил немедленно уехать за границу. Рассказывают, что Людмила, снедаемая неутешной любовью, захворала чахоткой и вскоре умерла, проклиная и мужа, и меня.

Но другие жены кишиневских нотаблей не были столь несчастны. Одна из них охотно изучала в моем обществе позы Аретино, а другая влюбилась в меня как кошка и преследовала меня разными обидными намеками, так что мне пришлось в конце концов вызвать на дуэль и даже ударить по лицу ее мужа, почтенного и уже пожилого боярина. Снов вызов, снова дуэль… И снова не состоялась, зато по милости Инзова сидел я долго на гауптвахте.

– Генерал Инзов, славный человек! – заметил я.

Пушкин поддержал:

– Добрый и почтенный старик, он русский в душе; он не предпочитает первого английского шалопая всем известным и неизвестным своим соотечественникам.

– Но проказить он вам не давал! – рассмеялся я.

– А не всегда ему удавалось за мной приглядывать! – заулыбался Пушкин.

– Стрелялись?

Пушкин досадливо скривился.

– Еще одна дуэль не состоялась из-за трусости моего противника, – продолжил он с неохотой. – Какой-то бывший французский офицер Дегильи, проживавший тогда в Кишиневе, задел меня чем-то, и я, конечно, поспешил вызвать его на дуэль. Мосье Дегильи отказался. Тогда я написал ему оскорбительное письмо. О, тогда я умел мастерски писать письма этого нехристианского жанра: «Недостаточно быть жалким трусом, надо еще уметь не скрывать этого. Накануне поединка на саблях, от которого в страхе готовы наложить в штаны (по-французски так крепко, что нельзя буквально перевести), не пишут на глазах жены горьких жалоб и завещания; не сочиняют жалких сказок для городских властей, чтобы избежать царапин…» И так далее в том же роде. Это называется стрелять по воробьям из пушек, но, скучая, я не брезговал и этой жестокой забавой.

После я пустил по рукам карикатуру на Дегильи. Француз стоит в одной короткой рубашке, с голым задом, с растопыренными на руках пальцами, с шевелюрой, которая торчит дыбом. Он испуган и бормочет в ужасе: «Моя жена!.. Мои штаны!.. И моя дуэль!..» – Он принялся заливисто хохотать, видимо, в восхищении от собственной проделки.

В тот момент эта выходка мне тоже показалась смешной, однако я все же заметил ему, что, будь Пушкин одним из моих студентов, не миновать ему за подобное карцера.

– Ох, думаю, вас бы хорошо поняли мои лицейские профессора! – согласился он. – Но одно дуэльное дело я все же довел до конца. Был я с офицерами на одном собрании, где танцевали. Я пригласил даму на мазурку, захлопал в ладоши и закричал музыке: «Мазурку, мазурку!» Один из офицеров подходит и просит меня остановиться, уверяя, что будут плясать вальс. «Ну, – отвечаю, – вы вальс, а я мазурку», – и сам пустился со своей дамой по зале.

Полковой или батальонный командир, кажется, подполковник Старков по своим понятиям о чести считал необходимым стреляться со мной, а как офицер не решался на это сам, начальник его принял дело это на себя.

Я пробормотал что-то неодобрительное.

– Батюшка мой покойный, духовного звания, не мог бы одобрить столь бессмысленное человекоубийство, – высказался я. – Как врач, посвятивший себя спасению жизней, не могу одобрить его и я.

Я ожидал, что собеседник мой примется протестовать, но этого не случилось. Выражение лица его, вообще подвижного и изменчивого, стало задумчивым.

– Вы правы, наверное, – согласился со мной Пушкин. – Но понятия о чести выше. К тому же есть неизъяснимый азарт в том, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Первый мой вызов на дуэль… был лет в семнадцать. Вызвал я своего дядю Павла Исааковича. Он в одной из фигур котильона отбил у меня девицу Лошакову, в которую, несмотря на ее дурноту и вставные зубы, я тогда по уши влюбился. Ссора наша кончилась через десять минут мировой и новыми увеселениями. Дядя сочинил экспромт: «Хоть ты, Саша, среди бала вызвал Павла Ганнибала, но, ей Богу, Ганнибал не подгадит ссорой бал!»

– Вижу, дуэли вам по сердцу!

– Ах, из-за каких только безделиц я не стрелялся! Друг Кюхля… Ээээ… Вильгельм Кюхельбекер… – Пушкин помрачнел. – Имя его может быть вам известно в связи с…

– Да, я слышал это имя, – коротко подтвердил я.

– Давным-давно в лицее он вызвал меня на дуэль за стихотворную шутку: «За ужином объелся я. Да Яков запер дверь оплошно, так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно». Первым стрелял обиженный Кюхля. Он целился мне прямо в лоб. А меня шут дернул закричать секунданту… им был Антон Дельвиг: «Стань на мое место. Тут безопаснее». Пистолет дрогнул, и пуля пробила фуражку на голове Дельвига.

Я охнул. А Пушкин улыбнулся зло и весело.

– Тогда я кинул пистолет прочь и, желая обнять товарища, кинулся к Кюхле со словами: «Я в тебя стрелять не буду». Поединок был отложен. Мы помирились.

– Драться с другом… Это нехорошо, право! – с убеждением проговорил я.

– Бывало и такое, – вздохнул Пушкин. – Позже я вызвал на дуэль Рылеева за то, что он повторил обо мне одну грязную сплетню. – Пушкин нахмурился.

Я, прикинув мысленно, в каком году это было, заподозрил, о чем речь: поговаривали, будто Пушкина высекли в тайной канцелярии.

– Модеста Корфа я вызвал из-за того, что тот поколотил моего слугу, который пьяным приставал к его камердинеру.

– Тоже стрелялись?

– Корф, зануда, не принял вызова «из-за такой безделицы». Но он всегда был трусом и занудой. А тогда в Кишиневе мне было чертовски скучно. А тут как раз подвернулся этот Старков. – Глаза его блеснули, в них отразилось давнее, но все еще будоражащее кровь воспоминание. – Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя

секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. – проговорил он с видимым наслаждением. – Стрелялись в камышах придунайских, на прогалине, через барьер, шагов на восемь, если не на шесть. Старков выстрелил первый и дал промах. Жизнь его была в моих руках; я глядел на него, стараясь уловить тень беспокойства, но подполковник, военный человек, был спокоен.

– И вы стреляли? – с ужасом спросил я, представляя окровавленное тело.

Пушкин, улыбнувшись, отрицательно качнул головой.

– Тогда я подошел вплоть к барьеру и, сказав: «Пожалуйте, пожалуйте сюда» – подозвал противника, не смевшего от этого отказаться; затем, уставив пистолет свой почти в упор в лоб его, спросил: «Довольны ли вы?» Тот отвечал, что доволен, я выстрелил в поле, снял шляпу и сказал: «Подполковник Старков, / Слава Богу, здоров». Так поединок наш был кончен, а два стиха эти долго ходили вроде поговорки по всему Кишиневу.

– Это хорошее окончание дуэли – оба противника живы, – с жаром проговорил я. – Вы не пострадали и не стали убийцей, слава Богу!

Пушкин вдруг глянул на меня очень серьезно. Его выразительные черты, и особенно его большие голубые глаза, не позволяли ему скрывать свои мысли и чувства. Любая смена настроений легко читалась на его оригинальном арапском лице.

– Да, Господь меня упас. Вы правы. Уязвить врага эпиграммой, высмеять его – это мое. Но отнимать чью-либо жизнь я бы не хотел. Та дуэль была для меня несерьезным делом… Забавой.

– Вижу, забавы у вас были опасные.

– О, иногда забавы были и ученого рода! – похвастался он. – В Кишинев приехал известный физик Стойкович. Узнав, что он будет обедать в одном доме, мы сговорились поставить в тупик физика. Перед обедом из первой попавшейся «Физики» заучили все значительные термины, набрались глубоких сведений и явились невинными за стол. Исподволь склонили разговор о предметах, касающихся физики, заспорили между собою, вовлекли в спор Стойковича и вдруг нахлынули на него с вопросами и смутили физика, не ожидавшего от нас таких познаний.

Эта выходка меня искренне рассмешила, так как не была связана с кровью и возможной гибелью ее участников.

– Тогда я пережил полосу наиболее острого увлечения, почти отравления Байроном! – продолжил Пушкин. – Носил черный плащ – Гарольдов, повязывал шейный платок, как он. Мечтал уехать в Грецию… – Он загрустил, думая о несбывшемся. – Случай дал мне возможность сблизиться с его бывшей любовницей. Звали ее Калипсо Полихрони. – Он с явным удовольствием выговорил это странно звучащее греческое имя. – Была она чрезвычайно маленького роста, с едва заметной грудью и длинным сухим лицом, всегда нарумяненным. Хорошенькой ее трудно было назвать. Приятеля моего сильно смущал ее огромный нос, как бы сверху донизу разделявший лицо, но огненные, сильно подведенные глаза, густая и длинная коса были привлекательны. В обществах она мало показывалась, но дома радушно принимала. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости; если бы она жила в век Перикла, – история верно бы нам сохранила имя ее вместе именами Фрины и Лаисы. Относительно дальнейшей судьбы Калипсо сохранились романтические, но малоправдоподобные рассказы. Она якобы удалилась в мужской монастырь, где жила под видом послушника, исправно посещая все церковные службы и удивляя монахов своим благочестивым рвением. Никто не подозревал в ней женщины, и ее инкогнито было разоблачено только после ее смерти.

– Кажется, была она женщиной незаурядной, – предположил я.

– Без сомнения! Кроме турецкого и греческого, она знала арабский, молдаванский, итальянский и французский языки. Пела она забавно – на восточный тон, в нос; любила турецкие сладострастные заунывные песни, с аккомпанементом глаз, а иногда жестов. «Черную шаль» пела. Пушкин принялся напевать, а я с удовольствием вторил ему: «Гляжу, как безумный, на черную шаль,/ И хладную душу терзает печаль. / Когда легковерен и молод

я был,/ Младую гречанку я страстно любил..»

Так дуэтом мы допели почти до конца, до строчек «Неверную деву ласкал армянин».

– Худобашева Александра Макаровича знаете? – вдруг спросил Пушкин.

Я ответил, что хоть фамилия этого писателя мне знакома, равно как и его произведения.

– Так Александр Макарович, будучи армянином, принял это на свой счет, он действительно отбил у меня одну кишиневскую даму. Так я специально каждый раз, завидев его, принимался читать свою «Черную шаль». Ах, как он злился! – Пушкин потер руки.

– Но хорошо ли это? – спросил его я.

Пушкин снова стал весел.

– Наши ссоры всегда заканчивались смехом и примирением, – заверил меня он. – Я бросал Худобашева на диван и садился на него верхом, приговаривая: «Не отбивай у меня гречанок!» Это нравилось и льстило Александру Макаровичу, воображавшему, что он может быть мне соперником, ведь он лет на двадцать меня старше.

– А что еще вы написали в Кишиневе?

– Посылал я тогда в столицу много своих бессарабских бредней, но печатали мало: целомудренную дуру – цензуру мои стихи очень тревожили. Но тогда мы обманули старушку, ибо она очень глупа – по-видимому, ее настращали моим именем, так мы поднесли ей мои вирши под именем кого-то другого… И все было слажено.

– То есть ваши стихи были изданы под именем другого? – оторопел я.

– Именно так. И не раз так было, – он хитро прищурился, – и не только стихи… Вот была сказка…

– Какая? – не удержался я. И ошибся!

Пушкин вдруг замолчал.

– Не скажу, – проговорил он. – Уговор наш с бездарным писакой, отдавшим мне свое имя, был таков, что я получаю деньги, он – славу. А уговоры надо выполнять. Ну а коли я сейчас начну сплетничать, что, мол, это я написал и это тоже мое сочинение… То так можно приписать себе и «Юрия Милославского».

– А это тоже? – удивился я.

– Нет! – Пушкин замахал руками. – Это не мое. Сие творение господина Загоскина принадлежит только ему, не мне, и «Рославлев» также.

– Расскажите еще про Кишинев, – попросил я.

– Проклятый город Кишинев… – с тоской в голосе пробормотал он. – О нем больше и нечего рассказывать. Тем более, что летом 1823 года благодаря хлопотам Тургенева считавшего Кишинев губительным омутом, я был переведен в шумную, многолюдную и кипевшую жизнью Одессу. Друзья надеялись, что перемена послужит мне на пользу. Я был счастлив и неблагодарен по отношению к доброму старику Инзову. Отъезд мой его огорчил. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым!

– Чем же так плох был граф Воронцов? – поинтересовался я.

– Граф Воронцов взял меня к себе с целью «спасти мою нравственность и дать моему таланту досуг и силу развиться». Именно эти выражения употребил он в беседе с Тургеневым. Но мы с ним не ужились! – На лице его появилась раздраженная гримаса. – В Одессе я жил сначала в Hotel du Nord на Итальянской улице, потом на Ришельевской улице, на углу ее с Дерибасовскою. Окна дома выходили на обе улицы, и угольный балкон, с которого было видно море, принадлежал мне. Я часто сиживал там в своем кишиневском архалухе и феске. Выходя на улицу, я имел вид денди: носил черный, наглухо застегнутый сюртук и черную шляпу и обязательно – тяжелую трость.

Пушкин откровенно радовался собственной элегантности.

– На первых порах Одесса меня порадовала. Там имелась итальянская опера, хорошие рестораны, казино; сюда исправно доходили западно-европейские газеты и книжные новинки; здесь было много образованных и любезных семейств иностранных и полуиностранных купцов, а в доме Воронцовых открывался уголок настоящего большого

света.

Тамошнее общество, будучи составлено из каких-то отдельных лоскутков, чрезвычайно пестро, и потому не представляет возможности скучать человеку просвещенному и наблюдательному. Тон его был совершенно не столичный! Время мое протекало между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя.

Большая часть тамошнего общества занята была либо службою, либо торговлею и торговыми оборотами. Довольно этого одного обстоятельства, дабы почувствовать, что все они ищут в обществе отдохновения, а не нового труда. Следовательно, каждый поступал по своему, не принуждая себя к строгому порядку столичных гостиных…

Я стал завсегдатаем итальянского оперного театра и славной ресторации Оттона. Шумели мы изрядно, устраивали разнообразные забавы в холостой компании, отчасти напоминающие прежние столичные проказы. Ездили по б*** Я пил, как Лот Содомский, и временами жалел, что не имею с собою ни одной дочки.

– И кого же вы сыскали на замену этим несуществующим «дочкам», – поинтересовался я. Признаюсь, вопрос был несколько развязен, но, что поделать, к тому времени мы уже допивали и анисовку. – Я уверен, что в Одессе сыскались свои «Калипсо».

– А! Все-таки скромного поповича интересуют прекрасные дамы! – воскликнул Пушкин. – Особенно хороша была одна одна, полунемка и полуитальянка. Была она дочерью банкира, и потому прозывали ее негоцианткой, – вспоминал Пушкин. – Она была высока ростом, стройна и необыкновенно красива. Темная густая коса ее была более двух аршин. Стоит, однако, отметить, что ступни ее ног были очень велики, и потому она всегда носила длинное платье, волочившееся по земле. Она обычно ходила в мужской шляпе и в костюме для верховой езды. В доме Воронцовых ее не принимали, зато почти все мужчины, молодые и пожилые, принадлежавшие к высшему кругу, были постоянными гостями супругов Ризнич. Амалия пользовалась головокружительным успехом и была предводительницею во всех развлечениях. Муж оставался на втором плане.

Какое-то время мне казалось, что я заслужил ее благосклонность, но вдруг Амалия переменилась… У меня отыскался соперник, я принялся ревновать. Однажды из ревности пробежал по жаре и солнцепеку 35 верст… А был еще случай, когда во время ночного свидания в саду дома негоциантки я в припадке ревности стал ее душить, и на ее хрип и крики сбежались люди.

– Ужасно! – не удержался я. – Это подлинно ужасно.

– Да, – согласился Пушкин, – но Всевышний и тут уберег меня от того, чтобы стать убийцей. Тогда мы расстались. А потом из-за открывшейся чахотки Амалия вынуждена была уехать в Италию и там умерла. Я узнал о ее смерти много позже, запертый в Болдино…

– Как это печально – про Амалию… – вздохнул я.

Пушкин пробормотал что-то неразборчивое. Я разобрал только «с него робкой и унылой…» и слово «воспоминать».

– Тогда же мне сообщили еще о пяти других смертях. – Он внезапно стал очень грустен. – Накануне того дня мне как раз приснилось, что у меня выпали все зубы. А говорят, приснится, что выпал зуб – к покойнику.

Он стал мрачен настолько, что это меня напугало.

– Вы говорили про дом Воронцовых. Помнится, вся Россия повторяла вашу эпиграмму о генерал-губернаторе Воронцове! – напомнил я, процитировав – «Полумилорд – полукупец / Полумудрец, полуневежда, / Полу-подлец, но есть надежда, / Что будет полным наконец». Ловко вы его припечатали!

– И он того вполне заслужил! – ответствовал Пушкин. – Хотя бы из-за саранчи.

– Саранчи? – не понял я.

– Именно, саранчи. Мерзких этих насекомых. Несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернатора отряжено было для возможного еще истребления

ползающей по степи саранчи; в число их попал и я. Это была вельможная месть за то, что я якобы ухаживал за его супругой. Само собой, ни на какую саранчу я не поехал. Для виду я отсутствовал шесть дней, кои провел в имении своего приятеля, где отметил свое двадцатипятилетие, распивая венгерское вино и читая первую главу «Евгения Онегина». Целые трое суток пили и кутили.

Возвратясь чуть ли не через неделю, я явился к графу Воронцову в его кабинет. Разговор был самый лаконический. Я отвечал на вопросы графа только повторением последних слов его, например: «Ты сам саранчу видел?» – «Видел». – «Что ж ее, много?» – «Много» и т. п. А потом сделал я ему доклад по форме: что, мол, созвал я крестьян и спросил у мужиков: «А знаете ли вы, что такое саранча?» Мужички помялись, посмотрели друг на друга, почесали, как водится, затылки, и, наконец, один молвил: «Наказанье Божье, ваше высокородие». «А можно бороться с Божьим наказанием?» – спросил их я. «Вестимо, нельзя, ваше благородие». «Ну так ступайте домой», – и больше их не требовал.

Я рассмеялся, но Пушкин был невесел.

– А вот Воронцов не оценил соли этой шутки. Он был в бешенстве! Видя его нешуточный гнев и зная известную его подлость, я задумывал бежать из Одессы – морем в Турцию… Под покровом ночи меня должны были посадить на шлюпку и доставить на борт корабля, отплывавшего в Константинополь. Предполагалось, что пять суток я буду прятаться в трюме, пока бриг не уйдет в открытое море.

– О Боже! Это авантюрный роман какой-то! – воскликнул я. – И чем же все кончилось?

Пушкин вздрогнул, словно мой вопрос вырвал его из мира грез.

– Скучно кончилось, – расстроился он. – Я попросил отставку. Но подлец-Воронцов из мести отправил на меня донос в столицу, обвинив в атеизме. Результатом всего этого было высочайшее повеление – меня исключили из службы и отправили в Псковскую губернию в имение родителей, под надзор местного начальства. Туда, где небо сивое, а луна точно репа… С тех пор я не служу нигде… Числюсь по России.

– Он вам так отмстил за эпиграмму? – поинтересовался я.

Пушкин хотел было что-то ответить, но вдруг осекся.

– Боюсь, заговорил я вас, любезнейший… Развлекаю вас слухами и сплетнями от царя Гороха, пустыми безделицами морочу дельного человека.

– Что вы, что вы! – принялся возражать я, но он и слушать не хотел, явно вознамерившись закончить наш разговор. За окном уже давно рассвело, и, наверное, скоро нам уже можно было ехать. Выразив надежду, что время клопов, эти мерзких кровососов, миновало и мы сумеем прикорнуть хоть пару часов, мы вежливо поблагодарили друг друга за приятное общество и разошлись.

На том и кончилась моя первая встреча с великим русским поэтом. Утром нам подали лошадей и мы, пожелав друг другу доброго пути, отправились по своим делам. Пушкин выглядел бодрым, а моя голова болела нещадно после непривычного возлияния, но я не жалел об этой малой плате за удивительный вечер и продолжал еще долго вспоминать о нем, прокручивая в голове подробности. Мало кто удержался бы от того, чтобы как-нибудь вскользь обронить: а знаете, в беседе моей с Пушкиным… Но я старался быть скромнее и доверил сей эпизод лишь супруге моей Александрине да нескольким друзьям. Однако с тех пор с особенным вниманием следил за за выходившими в печати творениями его пера, в одном из них с умилением узнав комнату в доме станционного смотрителя, где я с таким удовольствием провел вечер и ночь. Любопытствуя насчет некоторых деталей из жизни поэта, старался я сблизиться с людьми, его хорошо знавшими.

* * *

Из этого довольно длинного разговора следует, что Пушкин имел крайне неровный характер и настроение его менялось поминутно. Это говорит об эмотивно-лабильной психике поэта.

Их содержания беседы явствует, что поэт был крайне несдержан и неосторожен в речах, что он позволял себе опасные остроты даже в присутствии незнакомых собеседников и часто имел дуэли по самым ничтожным поводам.

Кроме того, следует обратить внимание и на упоминание венерических болезней и лихорадок, которые лекари николаевской России лечили «меркурием», то есть ртутью.

Глава 4

Довольно скоро после той нашей чудесной встречи пришлось мне быть в Киеве. Едва ли найдется другой город в России, который мог бы сравниться с Киевом по красоте своего местоположения. С какой бы стороны ни приближался к Киеву путешественник, перед ним открывается ряд дивных панорам, из которых одна краше другой. Гористый берег Днепра, на котором, подобно древнему Риму, раскинулся Киев по целому ряду холмов, причудливо громоздящихся один возле другого, обвалы последних и расположенные между ними ущелья составляют уже сами по себе восхитительную картину; если же к этому прибавить чрезвычайно изящные по своей архитектуре и легкости сооружения, красующиеся на самых возвышенных пунктах киевских гор, церкви, сверкающие своими куполами и утопающие в зелени, то действительно получится картина, достойная кисти художника. Едва ли, наконец, найдется другой город в России, в котором было бы столько святынь, как в Киеве. Со всех отдаленных концов нашего обширного Отечества стекаются сюда ежегодно десятки тысяч христианских паломников на поклонение мощам тех мучеников и св. угодников, которые были не только столпами веры, но и общественными деятелями, просветителями и защитниками высоких христианских идеалов.

Углубясь, однако, в самый город, видел приезжий картину уже не столь отрадную. Рядом с великолепнейшими церквями стояли полу-развалившиеся избы и другие старые и ветхие строения. С радостью узнал я о готовящейся перестройке города. Это благое начинание сулило мне надежду увидеть Киев обновленным и нарядным, как и подобало столице Малороссии.

Путь мой лежал на далекую окраину в Кирилловскую больницу, относившуюся к Приказу Общественного призрения, где трудился мой коллега Евстафий Петрович Рудыковский, знакомый мне еще по Петербургской медико-хирургической академии, куда он поступил, приехав из своего родного Киева, в числе лучших учеников Киевской академии, имея в сердце благородное рвение провести назначенные для медицинского образования четыре года в непрерывном учении с неослабным прилежанием.

С удовольствием увидел я новые каменные постройки, где содержались престарелые и увечные жители Киева, чаще всего, воинского звания, а также несчастные умалишенные и дети-сироты. Помолившись в Свято-Троицкой церкви, встретился я с милейшим Евстафием Петровичем. В отличие от меня по окончании курса он не остался на штатской службе, а был определен в Томский пехотный полк, с которым участвовал в Отечественной войне: в сражениях под Смоленском, при Бородине, под Малым Ярославцем, под Красным… был награжден медалью. Признаться я даже немного завидовал его богатой событиями жизни и почитал за героя. Далее был с полком в Герцогстве Варшавском, Силезии, Саксонии, Баварии, Франции, Пруссии… Именно в этом походе он познакомился с генералом Раевским, которого сопровождал в его поездке с дочерьми на Кавказские минеральные воды.

В 1825 г. Рудыковский оставил военную службу и поселился в своем родном Киеве.

Как и я, Евстафий Петрович был сыном священника, но в отличие от вашего покорного слуги – дворянского происхождения. Он был человек идеалистического склада, не практик, и житейские дела мало его интересовали; он имел слабость к изучению языков, к редким и старинным книгам и собрал прекрасную библиотеку; интересовался литературой, историей, политикой и богословскими вопросами. Для собственного удовольствия писал стихи – басни, сказки, песни, порой патриотические оды или религиозные псалмы, но, к сожалению, почти никогда их не печатал.

Не стану наскучивать своему читателю пересказом всей нашей беседы, касавшейся в основном вопросов нашей профессии. Говорили мы много о том, что каждая болезнь, как некое существо живое, имеет свою особенную породу и вид, говорит о себе в переменах, показывает себя в поприщах, являет силу свою в возмущениях. Врач чем чаще ее видит, чем продолжительнее с нею беседует, чем внимательнее смотрит на ее мановения, иногда поблажая ее своевольству, а в другую пору укрощая свирепство ее браздами и ранами, тем

короче познакомится с сею враждебною гостьею, занимающею дом больного, которая ежели усилится, то выживет из дому самого хозяина…Ох! Однако, кажется, что отступил от темы и нарушил данное самому себе обещание. А потому закончу о болезнях и перейду сразу к той части разговора, что относилась до знакомства Евстафия Петровича с великим российским поэтом.

Сидели мы в задней и самой уютной комнате служебной квартиры Евстафия Петровича, где стояли киот с образами, шкаф с посудою, стол, диван и кровать. Мы ужинали дивными, упоительно пахнущими пирожками, испеченными на душистом подсолнечном масле, кровяной колбаской и, не скрою, хорошей бутылочкой местной горилки. Я уже рассказал о замечательном происшествии на путевой станции, и теперь милый доктор Рудыковский охотно вспоминал о своей встрече с поэтом.

– О, нарзан, нарзан чудесный!.. С Пушкиным тебя я пил, до небес превозносил он стихами, а я прозой! – шутливо продекламировал он, когда я упомянул о Екатеринославе. – Едва я по приезде в этот городок, расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала. Лица на нем нет! Кричит: «Доктор! Я нашел здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь; поспешите со мною!»

– Клятва Гиппократа… – вздохнул я.

Рудыковский кивнул.

– То то и оно… Нечего делать – пошли. Приходим в гадкую избенку, и там на дощатом диване сидит молодой человек – небритый, бледный и худой. А перед ним – ледяной лимонад.

«Вы нездоровы?» – спросил я его. «Да, доктор, немножко пошалил, купался, кажется, простудился», – отвечал он мне. Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него лихорадка. На столе перед ним лежала бумага. «Чем вы тут занимаетесь!» – спрашиваю. «Пишу стихи», говорит. «Нашел, – думал я, – и время и место». Отобрал я у него лимонад и, посоветовавши ему на ночь напиться чего-нибудь теплого, оставил его до другого дня.

Мы остановились в доме бывшего губернатора Карагеори. Поутру гляжу – больной уж у нас и говорит, что едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку болтает с младшим Раевским по-французски. Но куда там – не выздоровел! После обеда у него снова озноб, жар и все признаки пароксизма.

– Mai aria? – предположил я после недолгого раздумья.

– Совершенно верно, – согласился Евстафий Петрович. – Болотная лихорадка с периодическими приступами жара, сменяющимися ощущением полного здоровья. Пишу рецепт, так он еще и капризничает: «Доктор, дайте чего-нибудь получше; дряни в рот не возьму!» О, каков!

– Капризен, черт! – Я засмеялся. – Знаю, встречался с ним…

– Тогда я поддался на его уговоры, прописал сперва слабую микстуру. На рецепте нужно написать кому. Спрашиваю. «Пушкин» – фамилия незнакомая, по крайней мере, мне в то время. Лечу, как самого простого смертного, вижу, что не помогает, и на другой день закатил ему хины. Пушкин кривится, морщится, но пьет.

– Ну и что, полегчало ему? – поинтересовался я.

– Да, полегчало, и мы поехали далее. Может, тем бы все и окончилось, но на Дону обедали у атамана Денисова, и этот строптивец Пушкин меня не послушался, покушал бланманже и снова заболел. Расстроился, заплакал: «Доктор, помогите!» На этот раз я изобразил строгость, нахмурился, ногами затопал: «Пушкин, слушайтесь!»

– И что же он?

– «Буду, буду, – говорит, – слушаться». Опять микстура, опять пароксизм и гримасы. «Не ходите, не ездите без шинели», – убеждаю его, а он возражать: «Жарко, мочи нет». «Лучше жарко, чем лихорадка». – «Нет, лучше уж лихорадка».

– И чем кончилось? – поинтересовался я.

– Опять сильные пароксизмы, – ответил Рудыковский. – И Пушкин снова пошел жаловаться: «Доктор, я болен».

– Ох, каков упрямец! – осерчал я.

– Я ж ему то же самое говорил! Уговаривал… Обещал он слушаться.

– Снова хина?

– Снова… И Пушкин выздоровел. В Горячеводск мы приехали все здоровы и веселы. – Рудыковский радостно рассмеялся, словно сама мысль о выздоровлении больного доставляла ему удовольствие. – Но чуть только самочувствие Александра Сергеевича улучшилось, он принялся подтрунивать над всеми нами, и прежде всего досталось мне, его спасителю! – пожаловался он.

– Это что же он вытворил? – спросил я в предвкушении занимательной историйки.

– А сейчас расскажу! – Рудыковский наполнил наши стопочки, и мы выпили горилки. – По прибытии генерала в город тамошний комендант к нему явился и вскоре прислал книгу, в которую вписывались имена посетителей вод. Все читали, любопытствовали. После нужно было книгу возвратить и вместе с тем послать список свиты генерала. За исполнение этого взялся Пушкин. Я видел, как он, сидя на куче бревен, на дворе, с хохотом что-то писал, но ничего и не подозревал. Книгу и список отослали к коменданту.

На другой день, во всей форме, отправляюсь к доктору… запамятовал фамилию, который был при минеральных водах. Встречает он меня: «Вы лейб-медик? Приехали с генералом Раевским?» – спрашивает. У меня глаза на лбу: «Последнее справедливо, но я не лейб-медик», – отвечаю. «Как не лейб-медик? – пугается тот. – Вы так записаны в книге коменданта; бегите к нему, из этого могут выйти дурные последствия». Бегу к коменданту, спрашиваю книгу, смотрю: там, в свите генерала, вписаны – две его дочери, два сына, лейб-медик Рудыковский и недоросль Пушкин. Хорош недоросль! Двадцать один год уж!

– Да уж, знаю, что на подобные забавы он затейник! – признал я. – Сам мне рассказывал, хвастался.

Мы оба принялись смеяться, хотя я понимал, что друг мой Рудыковский оказался тогда в затруднительном положении.

– Насилу я убедил коменданта все это исправить, доказывая, что я не лейб-медик, – рассказал он, – и что Пушкин не недоросль, а титулярный советник, выпущенный с этим чином из Царскосельского лицея. Генерал порядочно пожурил Пушкина за эту шутку. Пушкин немного на меня подулся, и вскоре мы расстались. Расстались, смею надеяться, друзьями. – Лицо Рудыковского вдруг стало мечтательным, даже умиленным. – Возвратясь в Киев, я прочитал «Руслана и Людмилу» и охотно простил Пушкину его шалость. Ох, мои сказки вполовину так не хороши!

– Но они вовсе не плохи! – заверил его я. – Хороши твои и сказки, и байки. Давай выпьем за твой талант!

Рудыковский махнул рукой.

– Не за мой талант нужно пить. Я имел неосторожность показать ему свои стихи. Александр Сергеевич тут же выдал ему эпиграмму: «Аптеку позабудь ты для венков лавровых, И не мори больных, но усыпляй здоровых».

– Злой Пушкин, – скривился я. А Рудыковский вдруг весело рассмеялся.

– Давай выпьем за его талант!

Отсутствие честолюбия немало помогало Евстафию Петровичу в жизни, а другой, пожалуй, мог бы и обидеться на колкие строчки. Я охотно выпил за чудесного нашего поэта.

– Как вам показалось, Евстафий Петрович, – поинтересовался я, – Пушкин болел часто?

– Да, частенько, пожалуй, – задумался он. – Но за исключением той горячки и, как принято изящно выражаться, даров Венеры все это были легкие мимолетные хвори, вызванные его пылкой, возбудимой натурой. Он чувствует сильно, остро, почти болезненно; от чувств может и жар произойти. Но потом его телесная крепость берет верх.

Просидели в тот день мы с Евстафием Петровичем допоздна. Вспоминали студенческие дни, пели песни… «Покинем все печали, / Гуляючи с друзьями, / Любовью будем жарки, / Примемся все за чарки…» «Отроче юный, от детства учися, / Писмен знати и разум потщися»… «Славься сим, Екатерина! Славься, нежная к нам мать!» И конечно же,

пели и «Черную шаль», снова добрым словом поминая Александра Пушкина.

* * *

Откровения Александра Сергеевича, да и шутка Евстафия Петровича насчет «даров Венеры», немало меня огорчили. Я желал думать, что нашего великого поэта обошла стороной эта грязная и неприглядная сторона жизни. Но я был вынужден признать свою наивность: его необузданный африканский темперамент требовал своего. Вскоре я получил еще одно этому подтверждение, навещая своего коллегу и доброго знакомого Василия Богдановича Шольца.

Роскошное здание Воспитательного дома располагалось на берегу Мойки – одной из самых грязных петербургских речушек. Качество воды в Мойке редко было удовлетворительным даже и во времена великого основателя нашего города, ну а теперь она превратилась в грязную, мутную протоку и дурно пахла. Миновав его роскошный фасад, украшенный статуей пеликана, кормящего своих птенцов, я зашел в боковую дверь и по длинному коридору прошел в секретное родильное отделение. Родильный дом при Воспитательном предназначался для неимущих, туда обращались женщины из беднейших слоев населения и порой не самой лучшей нравственности. Деньги на постройку этого богоугодного заведения пожертвовал заводчик Порфирий Демидов. В описываемые мною годы здесь было уже около полусотни кроватей и действовало три отделения: для бедных законных рожениц, для незаконнорождающих и «секретное отделение» для подследственных и для продажных женщин, больных дурными болезнями. Одной из таких несчастных рожениц (разродившаяся мертвым плодом) стала некая Марта Штейгель, в прошлом преуспевающая дама полусвета, ныне совершенно опустившаяся. Ее постыдная карьера давно уже шла под уклон: некогда подвизалась она в веселом доме известной в столице Софьи Астафьевны, теперь же, растеряв красоту и здоровье, промышляла на улице. Осмотрев ее, я обнаружил все признаки того, что больна она тяжело и безнадежно: ввалившаяся переносица и красное распухшее от беспробудного пьянства лицо яснее ясного говорили о грязной и мерзкой ее жизни.

Видать, некогда была эта девка нрава бойкого и веселого, да и теперь не порастеряла она вовсе свой гонор и развлекала повивальных бабок анекдотами о своих прошлых клиентах. Ушатами вываливала она грязь, упоминая фамилии людей уважаемых и честных.

– Одному Богу известный, сколько в речах ее вранья, а сколько правда. – прошептал мне Василий Богданович. Пруссак по происхождению, он до сих пор не утратил своего акцента, хоть и прожил в России большую часть жизни. – Подобный грязный пасквиль приходилось слышать мне не раз: все поступавший к нам шлюхи желают выставить себя невинный овечка, соблазненный, брошенный, обманутый… Насколько велик ее соблазнитель, зависит только от наглость клеветницы и развратность ее фантазии.

Само собой, Василий Богданович не подпускал молодых воспитанниц, обучавшихся на повивальных бабок, к подобным делам, заботясь об их нравственности, в секретном отделении работали лишь опытные повитухи и надзиратели.

Я помедлил у постели несчастного падшего создания, привлеченный ее речами. На этот раз шлюшка честила не придворных советников и не чиновников 2 и 3-го ранга, она то и дело произносила имя, ставшее гордостью России, обвиняя его во всех смертных грехах.

По ее словам, поэт вел жизнь довольно беспорядочную и появлялся под гостеприимным кровом ее хозяйки и в первые годы своего петербургского житья, и много позднее, накануне женитьбы, и даже после нее. Частенько целью визита были не радости Венеры, а желание без нужды побесить сводню притворной разборчивостью.

– Небольшой ростом, губы толстые и кудлатый такой… Дьявол с когтями! Мог, разозлившись, впустить их кому-нибудь в руку так глубоко, что кровь показывалась. Но не женщин, карты предпочитал он всему. Проигрывался в пух и прах. Они, бывало, зайдут к наипочтеннейшей Софье Астафьевне, – рассказывала девица. – И вот этот дьявол, стало

быть, выберет интересный субъект и начинает расспрашивать о детстве и обо всей прежней жизни… И все лезет и лезет с расспросами, пока всю душу наизнанку не вывернет. До слез доведет! А потом довольным принимается усовещивать и уговаривает бросить нашу компанию, заняться честным трудом, идти в услужение… Тьфу! – Она грязно выругалась. – Кто ж меня там ждет? И расплатится когда, то говорит, что это деньги «на выход». Ну я как-то и вышла. И что? Самой дороже работать, у Софьи Астафьевны лучше, безопаснее.

– Этот их благовоспитанный Софья Астафьевна жаловаться на поэта полиции, как на безнравственный человек, развращавший ее овечек, – усмехнулся Шольц.

– А что? – возмутилась девка. – Слышали бы вы, что он болтал! Порядочные люди даже наедине с собой о таких вещах не рассуждают.

– Экая блюстительница нравственности! – усмехнулся Шольц.

Он оборотился к девице и пригрозил вышвырнуть ее вон, если она не уймется, а заодно и постыдил за ее непотребную жизнь. В ответ она принялась грязно браниться и оскорблять присутствующих. Она выкрикивала фамилии людей уважаемых и известных в обществе, утверждая, что все они ей хорошо знакомы, и при желании она могла бы порассказать о них многое, и что почти все они уже подхватили от нее или от какой-то из ее товарок дурную болезнь. И снова, снова упоминала она имя великого нашего поэта. Говорила, что хоть вина он всегда пил в меру, пить не любил, а вот… и далее следовали отвратительные скабрезные подробности интимных игр. Она передавала разговоры и пошлые омерзительные шутки, приписывая их Пушкину.

– А помните, наводнение было?! – болтала она. – Полгорода тогда перетонуло, перемерло. А он смеялся: «Экий, говорил, случай был нашим дамам подмыться!» – девица залилась смехом.

Подобные мерзости я не мог представить себе в устах образованного, умного человека, тем более в устах поэта, а тем более в устах автора «Медного всадника», с такой силой описавшего горе тех страшных дней.

– Не мочь этого быть! – возмутился Василий Богданович. – Я точно знать, как Пушкин целовать руки женщине, который помогал лечить выживших и обмывать утопших. – От волнения его акцент стал еще заметнее, было видно, что он возмущен так же, как и я.

Безусловно, девка врала. Я приказал ей замолчать, пригрозив вызвать квартального и отправить ее прямиком из больницы куда следует, и только тогда непотребная девка замолкла, злобно поглядывая на меня испитыми глазенками.

Общество ее стало мне противно, и, убедившись, что несчастному младенцу ее уже не помочь, а никчемная жизнь падшей женщины вне опасности, мы с Василием Богдановичем удалились, занявшись другими больными.

*** * ***

Итак, из всего вышесказанного следует, что А.С. Пушкин обладал мощным сексуальным темпераментом. Подтверждаются и венерические болезни, которыми болел поэт.

На этом месте связность изложения теряется и мой прадед сразу переходит к следующему предмету, то есть к тому, как он лечил мать А.С. Пушкина – Надежду Осиповну. К сожалению, он не сообщает, как именно познакомился с этой женщиной, однако из записей видно, что визиты его в дом родителей Пушкина продолжались несколько лет.

Глава 5

Надежду Осиповну Пушкину, урожденную Ганнибал, я навещал, когда она вместе с мужем снимала квартиру в доходном доме Касторского в Свечном переулке, и позднее, когда семейство переехало на Моховую, в дом Кельберга.

В юности она считалась красавицей, ее называли за экзотическую внешность прекрасной креолкой или прекрасной африканкой. Я и сам мог в том удостовериться, глядя на старинный ее портрет, изображавший смуглую даму с орлиным носом и с розой в темных кудрях. Однако с годами красота поблекла, роды подпортили чудные некогда формы, лицо покрыли морщины, плечи поникли под тяжестью прожитых лет. А вот глаза – темные и выразительные – по-прежнему ярко выделялись на ее смуглом лице, то и дело меняя свое выражение. Дошло до меня, что было у милейшей Надежды Осиповны и другое прозвище, не столь лестное – «арапка». Так назвали ее те, кого она изводила своими капризами: приходилась она внучкою арапу Петра Великого, генерал-аншефу Абраму Петровичу Ганнибалу.

Характер ее, по всей вероятности, был испорчен тем, что отец покинул ее в самых ранних летах и она росла как бы сиротою и в большой бедности. Была она капризная, пылкая, властолюбивая, вспыльчивая, упрямая, эксцентричная, страстная к удовольствиям, но всегда рассеянная до крайности. Я подозревал у нее нервическую болезнь, которую с древнейших времен принято именовать hysteria. К сожалению, с годами к этому недугу прибавились и другие хвори, телесные.

К сожалению, не могу назвать Надежду Осиповну хорошей хозяйкой, с чем ее супруг, впрочем, мирился легко и охотно. Они любили друг друга, но спокойная размеренная жизнь была им обоим в тягость. Все семейство Пушкиных представляло что-то эксцентрическое. Дом их был всегда наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой – пустые стены или соломенный стул.

Кроме того, семейство Пушкиных отличалось удивительной непоседливостью, они любили менять квартиры, а если где-то задерживались, то беспрестанно переставляли в доме мебель. Приходя к ним, я с изумлением видел, что бывшая спальня вдруг стала гостиной, а гостиная переехала в столовую. Я привык к тому, что в их доме всегда царил беспорядок, а если меня приглашали остаться к обеду (что случалось несколько раз), то я не мог не заметить, что подаваемые за столом салфетки часто были недостаточно накрахмалены и плохо выстираны и желтоваты. В иные мои визиты хозяйка дома встречала меня веселая, приветливая и нарядная: не имея ни малейших притязаний на красоту, давно увядшую, она сохранила все привычки своей молодости и одевалась так же долго и старательно, как и тридцать лет назад. Но в другой раз я узнавал, что она уже несколько дней не выходит из комнаты, погрузившись в глубокую печаль и не удосуживаясь даже причесаться.

Перемены в ее настроении не были связаны с реальным состоянием ее здоровья, а всецело зависели от настроения. По словам супруга такое времяпрепровождение было ей свойственно всю жизнь: она могла неделями просиживать в спальне, а потом вдруг с месяц подряд каждый вечер выезжать в свет и плясать до изнеможения. Но легкомыслие, которое было недостатком в жизни повседневной, оказалось достоинством в жизни публичной: остроумная и изящная Надежда Осиповна блистала в светских салонах.

Теперь, постаревшая и больная, она томилась вынужденным бездельем, скучала и охотно откровенничала, вспоминая былые годы, когда она кружила головы другим и влюблялась сама. Она описывала кавалеров, из коих половина сгинула на полях войны, красавиц, давно состарившихся, но порой описывала детство и юность своих детей, и, конечно, – Сашеньки, то есть Александра Сергеевича Пушкина, который как раз собирался жениться. Невеста его была признанной красавицей, но это и все, что Надежда Осиповна могла сказать ей в похвалу.

– У Натали необыкновенно выразительные глаза и очаровательная улыбка, – говорила Надежда Осиповна. – Ее притягивающая простота в общении помимо ее воли покоряют всех.

Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Все в ней самой и манера держать себя проникнуто глубокой порядочностью. Все comme il faut – без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о ее родственниках. Сестры ее красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец стал и не в своем уме, никакого значения в семье он не имеет. Мать далеко не отличается хорошим тоном и частенько бывает груба и пренеприятна. К тому же она любит выпить. Наталья Николаевна явилась в этой семье удивительным самородком.

– Так что же смущает вас, Надежда Осиповна, – спросил я.

– Уж больно она молода, – пожаловалась мне престарелая прелестница. – И, как мне кажется, Наташенька не очень умна и ветрена. Лучше бы Саша выбрал кого-то постарше и помудрее.

– Возможно, с возрастом это исправится, – предположил я.

– С возрастом… – вздохнула Надежда Осиповна, сама когда-то славившаяся легкомыслием. – Но сейчас союз Сашенькиного непостоянного характера и легкомыслия его избранницы не кажется мне идеальным.

Эта часть ее рассказа, в отличие от фасонов модных платьев екатерининских и павловских времен, интересовала меня безмерно, и я старался наводящими вопросами перевести разговор именно на эту тему. Надо сказать, что, несмотря на словоохотливость, Надежда Осиповна все время перескакивала с предмета на предмет, с трудом задерживаясь на одной теме.

Родила она восемь детей, из которых выжило лишь трое. Увы, такова печальная правда нашей жизни! Детьми могла она не заниматься месяцами, всецело поручая их нянькам и гувернерам, а потом вдруг находила на нее охота воспитывать, и она принималась целыми днями заниматься с детьми французским или этикетом.

– Это моя заслуга, что Сашенька уже в детстве в совершенстве знал французский язык, за что в Лицее среди прочих имел прозвище Француз, – хвалилась она.

Первым ребенком в семье Пушкиных была дочь Ольга, но все ждали наследника. И вот 26 мая 1799 года родился мальчик. Надежда Осиповна наизусть помнила метрическую запись: «Мая 27-го во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева-Скворцова у жильца майора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр».

Третьим выжившим ее ребенком был младший сын Лев, которого она любила больше прочих. К несчастью, он не оправдал ее чаяний: он пристратился к вину и сия пагубная тяга губила его. Я встречал Льва Сергеевича в доме его родителей, даже пытался образумить его, но тщетно.

Беспокойство доставляла ей и дочь, Ольга Сергеевна, старшая из всех. В зрелом уже девстве она сбежала и тайно обвенчалась с человеком гораздо моложе ее. Никаких особенных препятствий к этому браку не было, а сей экстравагантный способ девица выбрала просто из романической причуды. С зятем Пушкины помирились, но особенной любви к нему не испытывали.

А вот перед чудесным своим Сашей Надежда Осиповна винилась за то, что в детстве любила его мало и часто была к нему несправедлива.

– Саша всегда был несколько замкнут и держался особняком, – оправдывалась она. – Я его плохо понимала.

– Он, наверное, рано проявил свой необыкновенный талант? – спросил я.

– Он – нет! Напротив! В раннем детстве, лет до семи, он был толстым, неповоротливым, угрюмым и сосредоточенным ребенком, предпочитавшим уединение всем играм и шалостям. Он был некрасив и нелюдим… Я почти насильно водила его гулять и заставляла бегать, отчего он охотнее оставался с бабушкою Марьею Алексеевною, залезал в ее корзину и смотрел, как она занималась рукоделием. Однажды, гуляя со мной, он отстал и уселся посереди улицы; а заметив, что одна дама смотрит на него в окошко и смеется, он привстал, говоря: «Ну нечего скалить зубы». Стыд такой! – Надежда Осиповна прижала

ладони к щекам, давно уже утратившим румянец.

– Я имел честь видеть вашего талантливого сына, – сказал я. – Теперь его вряд ли можно назвать ленивым и неповоротливым.

– О да! – подтвердила моя собеседница. – Вдруг в возрасте семи лет произошла резкая перемена: он стал резвым и шаловливым. Даже сверх всякой меры шаловливым, настолько, что мы с мужем пришли в ужас от внезапно проявившейся необузданности: ему ничего не стоило без разбега вспрыгнуть на стол, перескочить через кресло…

И характер его изменился сильно. Саша стал зол, упрям и дик. Он никогда не был красивым ребенком, повзрослевшее лицо его оставалось не слишком приглядно, но зато он обладал очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались… Ох, однажды он так обидел Ивана Ивановича Дмитриева! Помните, его чудные строчки: «О совесть! добрых душ последняя подруга! / Где уголок земного круга, / Куда бы не проник твой глас?…»

– «… Неумолимая! везде найдешь ты нас», – подхватил я. – Замечательные стихи! Но как же Александр Сергеевич мог обидеть сего славного пиита?

– Иван Иванович однажды посетил нас, когда Сашеньке было лет этак десять… Он по-доброму стал подшучивать над оригинальным личиком Пушкина и сказал: «Какой арапчик!» В ответ на это Саша вдруг неожиданно отрезал: «Да зато не рябчик!» Можно себе представить наше удивление и смущение: ведь лицо Дмитриева было обезображено рябинами, и все поняли, что мальчик подшутил над ним. Я тогда вывела Сашу вон из гостиной и отхлестала по щекам. – Надежда Осиповна нахмурилась. – По щекам хлестать мне его часто приходилось. Временами Саша бывал невыносим! Он часто ронял и разбивал посуду, в ответ на замечания – дерзил… Он то и дело ронял свой платок, грыз ногти… Я приказала пришить платок к его курточке, а руки связывала ему поясом.

Надежда Осиповна явно гордилась этим педагогическим достижением.

– Непослушный он был. Когда отца не было дома, он пробирался в «запретный кабинет» – рассматривал и трогал книги. Перечитал их все очень быстро и принялся сочинять свое. – Надежда Осиповна заулыбалась. – На восьмом году возраста, умея уже читать и писать, Саша сочинял на французском языке эпиграммы на своих учителей, а потом принялся за целую героикомическую поэму, песнях в шести, под названием «Толиада», которой героем был карла царя-тунеядца Дагоберта, а содержанием – война между карлами и карлицами.

– О, вы сохранили эту поэму? – заинтересовался я.

Она поджала губы.

– Из-за этих стихов вышла нехорошая история. Гувернантка подстерегла тетрадку и, отдавая ее гувернеру Шеделю, жаловалась, что m-r Alexandre занимается таким вздором, отчего и не знает никогда своего урока. И в самом деле, полагаясь на свою счастливую память, Саша никогда не твердил уроков, а повторял их вслед за Оленькой, когда ту спрашивали.

– Хитрец, – кивнул я.

– Нередко учитель спрашивал его первого и таким образом ставил Сашу в тупик, – ухмыльнулась Надежда Осиповна. – А вот арифметика казалась для него недоступною, и он часто над первыми четырьмя правилами, особенно над делением, заливался горькими слезами. Месье выводили из себя рассеянность Александра, его молчание на окрики, занятость какими-то странными мыслями, каковых в таком возрасте не должно быть. И вот, заполучив Сашенькины стихи с кучей грамматических ошибок, мсье исправил все красным цветом, а сбоку начертил знак вопроса, выразив таким образом свои сомнения в уместности подобных занятий. За общим обедом учитель зачитал эти сочинения, мы с Сергеем Львовичем смеялись, но Саша был потрясен. Ох, помню он расплакался, а потом, как тигр, прыгнул на француза, выхватил заветные листы и выбежал из столовой в другую комнату, где в ту пору топилась печь… И швырнул свои стихи в огонь. Поэма та погибла!

– Ах, какая жалость! – воскликнул я.

– Но этим все не кончилось! – предупредила меня Надежда Осиповна. – Мсье Шедель последовал за ним, и вскоре мы услышали крик о помощи – кричал не Саша, а француз. Мы кинулись на шум… Саша стоял с поленом в руке, стихи догорали в печи, а воспитатель, придерживая ушибленный локоть, вопил о помощи. С тех пор Саша возненавидел месье. Гувернер просил отставки. Сергей Львович был не против, но я предложила прибавку к жалованью, и месье Шедель все же остался.

Разговаривая со мной, Надежда Осиповна вышивала: это была пелена налойнова, предназначавшаяся в дар Святогорскому монастырю.

– Но Сашенькина учеба с тех пор не пошла на лад. Ох, невзлюбил он мсье… Хорошо, помог покойный Василий Львович. – Она перекрестилась. – Совсем недавно его не стало. Сашенька его любил, хоть и заезжал к нему нечасто. По его протекции Саша поступил в Лицей. Это стало для нас такой отрадой и облегчением!

Пересказала мне Надежда Осиповна и давнюю семейную сплетню: покойный брат ее мужа Василий Львович женился на известной московской красавице. Но молодая жена обнаружила, что она не единственная: в доме Василия жила его любовница – бывшая крепостная Аграфена. Оскорбленная жена покинула мужа и подала на него жалобу. Синод присудил Василия Львовича подвергнуть семилетней церковной эпитимии с отправлением оной в течение 6 месяцев в монастыре, а прочее время – под смотрением его духовного отца, а его жене дал развод с правом выхода замуж. Перенеся неудачу безропотно, он умел сохранить навсегда свою любезность, необыкновенную доброту души и набожность истинно христианскую. Своих детей не имея, Василий Львович сильно привязался к Саше. Он любил его больше других племянников, и баловал он Сашу сильно! Все шутил, что племянник мог бы хоть из вежливости не писать лучше дяди и, смеясь, сетовал: «А он пишет, пишет!»

Надежда Осиповна рассмеялась.

– Ах, бедный Василий Львович! Он успел написать стихи на скорую женитьбу племянника. Память у меня уже не та, не могу выучить. – Она встала и, подойдя к туалетному столику, принялась рыться в ящике. Потом подала мне бумагу.

«Благодаря судьбе, ты любишь и любим!… Блаженствуй! – Но в часы свободы, вдохновенья / Беседуй с музами, пиши стихотворенья, / Словесность русскую, язык обогащай / И вечно с миртами ты лавры съединяй!» – прочел я немного высокопарные, устарелые строки.

Конечно, я похвалил стихи и снова принялся расспрашивать о юности поэта. Надежда Осиповна отвечала охотно.

– А знаете, что потом, уже войдя в возраст, Саша выкинул! Ох, это был такой скандал! – Надежда Осиповна прижала ладони к порозовевшим щекам. – В то время должность обер-прокурора считалась доходною, и кто получал эту должность, тот имел всегда в виду поправить свои средства. И как-то была у нас в гостях супруга обер-прокурора. Саша сидел на кушетке, а подле него лежал наш кот. Саша его гладил, кот выражал удовольствие мурлыканьем, а гостья наша вдруг принялась приставать к Сашеньке с просьбою сказать экспромт. Саша молчал… А потом, как бы не слушая ее речей, обратился к коту: «Кот-Васька плут, / Кот-Васька вор, / Ну словно обер-прокурор».

Я рассмеялся. Надежда Осиповна мне вторила: видать, та старая сценка ее весьма позабавила. Со смехом и слезами вспоминала она и прочие забавные происшествия: он ловко поддел того, другого… Зачастую гости, становившиеся мишенью для его острот, были людьми намного старше его по возрасту и выше по общественному положению. Но юного шалуна это не останавливало!

На одном вечере Пушкин, еще в молодых летах, был пьян и вел разговор с одной дамою. Надобно прибавить, что эта дама была рябая. Чем-то недовольная поэтом, она сказала:

– У вас, Александр Сергеевич, в глазах двоит?

– Нет, сударыня, – отвечал он, – рябит!

Ох, как она тогда была смущена и разгневана! – сокрушалась Надежда Осиповна.

Видел я и Сергея Львовича Пушкина. Это был человек небольшого роста, с проворными движениями, с носиком вроде клюва попугая. Был он нрава пылкого и до крайности раздражительного, так что при малейшем неудовольствии выходил из себя. Будучи в хорошем расположении духа, он умел оживлять общество неистощимою любезностью и тонкими остротами, изливавшимися потоком французских каламбуров. Многие из этих каламбуров передавались в обществе как образчики необыкновенного остроумия. Так, одна польская дама, довольно дородная собою, в Варшаве за большим обедом, обращаясь к нему с насмешливым видом, спросила: «Правда ли, господин Пушкин, что вы, русские, антропофаги, едите медведей?» – «Нет, сударыня, – отвечал он, – мы едим корову, вроде вас».

В другой раз на вопрос одной неосторожной дамы: «Отчего это, сударь, находят столько детей подкинутых?» – «Оттого, что много “пропащих” женщин», – сказал он, не запинаясь.

Он был прекрасный декламатор и за обедом охотно читал стихи – Дмитриева, Карамзина, Батюшкова, Жуковского, а также оставил в дамских альбомах множество прекрасных стихов, под которыми могли бы подписаться и лучшие представители блистательной эпохи французской литературы. Один раз он зачитал мне письмо, адресованное детям, – нежнейшее письмо. Но все его душевные красоты причудливо сочетались с баснословной скупостью. Однажды при мне сын его Лев за обедом у него разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал.

– Можно ли, – сказал Лев, – так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?

– Извините, сударь, – с чувством возразил отец, – не двадцать, а тридцать пять копеек!

Я подозревал, что «Скупого рыцаря» Пушкин живописал со своего папаши.

– Александру Сергеевичу приходилось упрашивать, чтоб ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками, – поведала мне как-то прислуга, – а Сергей Львович предлагал ему свои старые, времен павловских.

Судьба зачем-то судила Александру Сергеевичу часто подолгу живать вместе с отцом, и это было невыносимо для обоих. Боясь сыновнего поэтического вольнодумства, Сергей Львович, очевидно из наилучших побуждений, согласился взять на себя надзор за сыном – вышла ссора, в которой Сергей Львович назвал сына выродком, о чем мне также сообщила услужливая прислуга. Ссоры между отцом и сыном повторялись часто, и после каждой Сергей Львович подолгу пребывал в мрачном настроении. Обыкновенно они гуляли по Невскому в одно и то же время, но никто и никогда не видел их гуляющими вместе.

– Мне ничего лучшего не остается, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына, – вздыхал он после очередной, как он выражался, «проказы» Александра Сергеевича.

Друзья его утешали, напоминая, что Пушкину многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить. Сергей Львович и слушал, и не слушал.

Именно в гостиной Надежды Осиповны и Сергея Львовича состоялась моя вторая встреча с Александром Пушкиным. Я увидел его в гостиной. Он стоял перед конторкой и ненамного превышал эту конторку ростом. Со времени нашей первой встречи он похудел, а на лице залегли резкие морщины. Кудрявые волосы его заметно редели. Широкие бакенбарды покрывали нижнюю часть его щек и подбородка. Я оробел и лишь после некоторого колебания решился подойти и напомнил поэту о нашем старом и мимолетном знакомстве. Я ждал его ответа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет ответа от министра: одно дело откровенничать с незнакомцем в полной уверенности, что ты его больше и не встретишь, а совсем другое – узнать в этом незнакомце домашнего врача собственной матери.

Александр Сергеевич, узнав меня, тоже, как мне показалось, несколько смутился, но потом вежливо поздоровался и, беспокоясь о здоровье матери, завел со мной разговор о ее

болезни. К прискорбию моему не мог я его утешить, я честно поведал, что жизненный путь Надежды Осиповны близится к финалу, однако сыновними и медицинскими заботами она сможет прожить еще несколько лет. Желая развеять неловкость и, возможно, продолжить наше знакомство, я передал поэту горделивые слова Надежды Осиповны о том, что это она научила сына французскому…

В ответ Александр Сергеевич вдруг рассмеялся:

– Боюсь, моя мать немного преувеличила! Но это правда, что воспитание мое мало заключало в себе русского: я слышал один французский язык. Гувернер мой был француз, впрочем, человек неглупый и образованный. Библиотека моего отца состояла из одних французских сочинений. Впрочем, потом я достаточно изучил родной язык и народную речь. Если бы не наша приятнейшая встреча, не стал бы, наверное, дожидаться лошадей, отправился бы вперед… С мужиками и бабами приятно разговаривать об их делах.

– Более приятно, нежели читать книги? – спросил я.

– На что вы намекаете? – приподнял брови Пушкин.

– Надежда Осиповна рассказывала мне о вашей любви к книгам, о том, как вы прокрадывались в библиотеку… – объяснил я.

– Да, это правда, – улыбнулся он. – Я проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой. К Лицею уже знал все наизусть…

– И восьми лет отроду стали сочинять свое, – вспомнил я слова Надежды Осиповны.

– Мама вам и это рассказала? Я сам уже и не помню, – рассмеялся он.

Я поздравил Пушкина с ожидающейся женитьбой.

– Да, участь моя решена. Я женюсь… Та, которую любил я целых два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством – Боже мой – она… почти моя. – Отчего-то он нахмурился. – Все радуются моему счастью, все поздравляют, все полюбили меня. Всякий предлагает мне свои услуги: кто свой дом, кто денег взаймы, кто знакомого бухарца с шалями. Но ведь вы не будете мне ничего предлагать, Иван Тимофеевич?

– Разве что свой медицинский опыт, – пожал я плечами.

Пушкин кивнул:

– Да, это, пожалуй, может пригодиться: будут дети. Спасибо…

Счастливым, однако, он не выглядел. Я осторожно спросил его о причине. Оказалось, что собеседник мой полон сомнений, вполне оправданных. Грядущие перемены, ответственность отца семейства пугали его.

– Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком – все это в сравнении с ним ничего не значит… Жениться! Легко сказать – большая часть людей видят в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок. Другие – приданое и степенную жизнь… Третьи женятся так, потому что все женятся – потому что им тридцать лет. Спросите их, что такое брак, в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму. Я женюсь, то есть я жертвую независимостью, моею беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Невеста моя, хоть и прекрасна, но бесприданница. Сам я никогда не хлопотал о счастии, о выгодном месте, о службе… я мог обойтись без всего этого. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?

Тут я, зная скупость отца его, мало что мог ему подсказать. Сам я женился, лишь когда имел достаточное положение и доход.

– Молодые люди начинают со мной чиниться: уважают во мне уже неприятеля, – пожаловался Пушкин. – Дамы в глаза хвалят мне мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте: «Бедная! Она так молода, так невинна, а он такой ветреный, такой безнравственный…» Признаюсь, это начинает мне надоедать!

– Об этом мы с вами уже говорили: нынче все безнравственные, – улыбнулся я.

Слова мои несколько утешили Пушкина. Но видно было, что связанные с женитьбой хлопоты измотали его.

– Мне нравится обычай какого-то древнего народа: жених тайно похищал свою невесту. На другой день представлял уже он ее городским сплетницам как свою супругу. У нас приуготовляют к семейственному счастию печатными объявлениями, подарками, известными всему городу, форменными письмами, визитами, словом сказать, соблазном всякого рода… Любовь уж не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра – площадная. Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи при свете луны продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками.

*** * ***

Беседовали мы в тот раз недолго, а потом пришлось стать свидетелем странной и неприятной сцены. Александр Сергеевич и Сергей Львович уединились в кабинете последнего для беседы, в то время как я уже покидал их дом. Очевидно, сын просил отца о какой-то материальной помощи. Вдруг Сергей Львович выбежал в гостиную и, не заботясь о том, кто может услышать его словам, принялся кричать о том, что сын хотел его прибить! Намеревался ударить… Убил, словом… Домашние пытались его успокоить… В страшном смущении я поспешно удалился.

*** * ***

В этой главе И.Т. Спасский описывает предпосылки к невротизации. В детстве А.С. Пушкин был не самым любимым ребенком. Его мать, женщина ветреная и легкомысленная, мало занималась детьми и часто унижала мальчика. Усугубляли конфликт скупость и неровный, слабый характер его отца.

Детские комплексы возродились при мыслях поэта о женитьбе. Он не получил в детстве модели семейных отношений, которая могла бы удовлетворить его интеллектуальные и духовные запросы, и теперь, готовясь стать мужем, мучился сомнениями. Примечательно, что в жены он выбрал женщину ветреную и недалекую – то есть почти такую же, какой некогда была его мать.

Глава 6

Давний мой знакомец Франц Осипович Пешель, несмотря на то что перешагнул уже за полувековой рубеж своей жизни, по-прежнему был бодр и жизнерадостен. Не растерял он и своей словоохотливости, усиливавшейся по мере того, как пустела наша бутылка. Лицейский врач, проработавший в этом учебном заведении с самого его открытия, по происхождению был моравским словаком и до сих пор не избавился от забавного своего выговора. Это был высокий полный мужчина, добряк, большой говорун, любивший пофилософствовать и поострить.

Совсем молодым Пешель приехал в Россию по приглашению блистательного князя Куракина и вот теперь дослужился до высокого чина статского советника. Это радостное событие и было формальным поводом для нашей пирушки.

В молодые годы доктор был весьма легкомысленным и влюбчивым. Шалуны – лицеисты складывали анекдоты о его похождениях, на что он, впрочем, не обижался. Как выяснилось, Пешель хорошо запомнил самый день открытия Лицея, хотя было это почти что тридцать лет назад.

– Поступил твой поэт в знаменитый Лицей двенадцати лет в числе первых тридцати мальчиков. Хотя документы говорят, что эти тридцать лучше других выдержали экзамены свои, но все-таки особенными знаниями похвастать они не могли, учителя на это жаловались. Преподавание наук в лицее, как и все внутреннее устройство его, имело особенный характер. Уравненный в правах с русскими университетами, он не походил на сии последние уже по самому возрасту своих питомцев, но, с другой стороны, в высшем, четвертом курсе лицея преподавалось учение, обыкновенно излагаемое только с университетских кафедр. Таким образом он соединял в себе характеры высших и средних учебных заведений. Лицеисты в течение шести лет узнавали науки от первых начатков до философических обозрений.

– Как это звучит… величественно! – заметил я.

– В этом и заключался главный недостаток! – рассмеялся Франц Осипович. – Лицей был устроен на ногу высшего, окончательного училища, а принимали туда по уставу мальчиков от 10 до 14 лет, с самыми ничтожными предварительными сведениями. Им нужны были сначала начальные учители, а дали тотчас профессоров, которые притом сами никогда нигде еще не преподавали. Не разделив их по летам и познаниям на классы, их посадили всех вместе и читали, например, немецкую литературу тому, кто едва знал немецкую азбуку.

– Для Лицея отведен был огромный, четырехэтажный флигель дворца со всеми принадлежащими к нему строениями. Этот флигель при Екатерине занимали великие княжны: из них в 1811 году одна только Анна Павловна оставалась незамужнею. На тридцать мест в Лицее оказалось куда больше желающих, – рассказывал он. – В итоге кому-то помогли поступить звучный титул: Александр Горчаков – Рюрикович! Шутка ли?! Кому-то – высокие чины родителей: отец Модеста Корфа – генерал; отец Аркадия Мартынова – директор департамента народного просвещения, да и сам 10-летний Аркадий – крестник министра Сперанского. Родственники Вильгельма Кюхельбекера и Фёдора Матюшкина пользовались покровительством вдовствующей императрицы.

– Светлая ей память! – Мы помянули покойницу.

– В семье Ивана Пущина было десять детей, – продолжил рассказ Франц Осипович. – Престарелый дед-адмирал привел двух внуков: кто выдержит экзамен, тому и учиться. Выдержали оба, и тогда жребий пал на старшего, Ивана. Только Владимир Вольховский, сын бедного гусара из Полтавской губернии, шел без протекции, но как лучший ученик Московского университетского пансиона. Жаль! Ах, как жаль, что многие из этих молодых людей так нелепо, так жестоко распорядились своими судьбами! И погубили скольких… Не могу описать ужас и уныние, что овладели мной при том известии! – чуть не плакал Пешель. – Словно я родных своих лишился… Тьфу! И за что? За Константина и

Конституцию. А этот Константин… Прости, Господи…

Я, как мог, его успокоил и попросил рассказывать дальше о юности поэта и о Лицее.

– Торжество началось молитвой, – припомнил Пешель. – В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Будущие лицеисты на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило все заведение.

В лицейской зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном, с золотой бахромой. По правую сторону стола стояли в три ряда лицеисты, директор, инспектор и гувернеры; по левую – профессора и другие чиновники лицейского управления. Император Александр явился в сопровождении обеих императриц, великого князя Константина Павловича и великой княжны Анны Павловны. Приветствовав все собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле царя.

Среди общего молчания началось чтение. Тогдашний директор департамента министерства народного просвещения тонким голосом прочел манифест об учреждении Лицея и высочайше дарованную ему грамоту. Единственное из закрытых учебных заведений того времени, которого устав гласил: «Телесные наказания запрещаются». Из наказаний было только такое: провинившегося ученика заставляли неотлучно находиться некоторое время в своей комнате. За этим следил дядька. Впрочем, и это наказание применялось редко.

Затем выдвинулся на сцену директор Малиновский. Бледный как смерть, начал он что-то читать, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист. Увы, природа не дала ему голоса лихого батальонного комиссара перед фрунтом, к тому же Малиновский был необыкновенно скромен. По правде сказать, смущался он и вот из-за чего: Василий Федорович речь читал не свою. Сочиненное им сочли… неподходящим и вручили бедняге другой листок… Эх… – Пешель вздохнул. – Помню прелестную хоть и болезненную императрицу Елизавету Алексеевну. Она как-то умела и успела каждому из профессоров сказать приятное слово. Константин Павлович у окна щекотал и щипал сестру свою Анну Павловну; потом подвел ее к Гурьеву, своему крестнику, и, стиснувши ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернувши нос, сказал ей: «Рекомендую тебе эту моську. Смотри, Костя, учись хорошенько!» Только этот Гурьев надежды своего крестного отца не оправдал: его исключили года через два.

– За что же? – изумился я.

– За «греческие вкусы», – рассмеялся Пешель. – Так со всей возможной мягкостью сформулировал причину покойный Малиновский. Василий Федорович – скромнейший и добрейший человек, таких порядочных – днем с огнем не сыскать. Да шут с ним, с тем Гурьевым… Ты же о Пушкине спрашиваешь. Жилось ему тут хорошо, как и всем лицеистам.

За чистотой строго следили. Приставленные к лицеистам дядьки убирали их комнаты, чистили сапоги, штопали и стирали белье лицеистов. Отношения учеников с дядьками были добрыми. Воспитанникам нельзя было ездить домой, а если и можно было видеться с родителями, то очень редко. У них было немало уроков, но немало и забав. Обязательно, в любую погоду, – прогулки три раза в день. Особенно веселы они бывали летом, когда в Царском Селе кругом музыка, люди, развлечения. На квартире гувернера Чирикова проходили литературные собрания. Участники по очереди рассказывали повесть: начинает один, другие продолжают. Лучшим рассказчиком был Антон Дельвиг, ему уступал даже Пушкин.

– Ах! Александр Сергеевич говорил мне, как он любил Дельвига! – воскликнул я.

– Любил! И тогда любил, спорить не стану, – подтвердил Пешель. – Зависти в нем не было, хоть и желал во всем этот арапчик быть первым. В танцевании, в фехтованиии – уроки были по средам и субботам.

– Да с кем же они могли танцевать? – спросил я. – Только в классах?

– Нет! Были и балы! – ответил Пешель. – Вот хоть первой же зимой, в день рождения царя, состоялся бал с иллюминацией. Лишь война двенадцатого года поумерила веселье.

Узнав, что генерал Раевский привел в армию двух сыновей, шестнадцати и одиннадцати лет, пятнадцатилетний Вильгельм Кюхельбекер тоже собрался на фронт, его еле удержали. Малиновский получил инструкцию об эвакуации Лицея, но, к счастью, враг отступил из Москвы.

– Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниях на нас бывших! – произнес я.

Пешель ответил мне молитвой на латыни, и потом мы оба с минуту молчали. Пешель о чем-то думал.

– Примерно в то же время еще совсем не старая умерла супруга Малиновского, оставив Василию Федоровичу шестерых деток… – с грустью проговорил он. – Невзгоды сильно подорвали его здоровье. А потом эта история с Гурьевым… Мог бы выйти большой скандал, если б стало известно.

– Но что за история? – не удержался я.

– Ах, мой милый, какой ты любопытный! Но… но «иных уж нет, другие странствуют далече», как сказал твой любимый Пушкин, а потому можно и поговорить. Поступил Гурьев в Лицей двенадцати лет, то есть был одним из самых юных учеников. Он был наделен красивым лицом и недурно сложен. С хорошими дарованиями, боек, смел, чрезвычайно пылок, беглого ума, услужлив; но при малейшем поводе суров, вспыльчив, сердит, дерзок и нескромен. Однако же признавался обычно в своих ошибках с чувствительностью, изъявляющею желание быть лучшим. Нрав его постепенно умягчался и образовывался, не теряя, однако же, свойственного ему военного характера. Соревнование, желание отличаться и честолюбие поощрили его к прилежанию, так что он полюбил учение. И вдруг – скандал!

– Да что же вышло?! – не стерпел я.

Пешель хохотнул.

– Осенью тринадцатого года этот крестник цесаревича Константина Павловича был застигнут надзирателем в самый пикантный момент его любовного свидания с двумя другими лицеистами, – доверительно сообщил мне он. – Ах, ручаюсь, что за время практики, друг мой, вам не раз доводилось слышать о подобном!

– Да уж, не вчера родился… – ошеломленно кивнул я.

– Двое друзей Гурьева убежали, а он сам с дерзким выражением лица остался на месте. Любовное свидание происходило в зале для торжеств под бюстом императора Александра Первого. Гурьев не выдал своих друзей, за что и был исключен из Лицея. Однако по просьбе матери мальчика Василий Федорович отметил в бумагах, что он не исключен, а «возвращен родителям», и не за мужеложство, а за «греческие вкусы»; эти поправки дали Гурьеву возможность впоследствии поступить в другое элитарное учебное заведение.

Пешель на секунду умолк.

– Гурьев этот считался близким другой Александра Пушкина и принимал активное участие во всех проказах лицеистов. Юный Пушкин, узнав об исключении из лицея близкого друга, несколько дней проплакал в своей постели. Так что сами гадайте, кем были те двое сбежавших. – Он испытующе поглядел на меня.

– Насколько я понимаю характер поэта Пушкина, – проговорил я, – он бы не сбежал.

– Возможно, – согласился Пешель, – был он дерзок сверх меры всегда. Но, учитывая состояние дел его отца, исключение стало бы весьма болезненным для его семейства. Возможно, он попросту проявил благоразумие? Не думаете?

– Пушкин и благоразумие? – пожал я плечами. – Но к чему нам сейчас гадать?..

Пешель кивнул.

– К сожалению, скабрезная история кончилась невесело: хлопоты эти и безмерные и постоянные труды расстроили здоровье Василия Федоровича Малиновского, и в марте 1814 года он скоропостижно скончался, не дожив и до пятидесяти лет. Заботу о его детях взяли на себя родственники. Он умер в такой бедности, что родной брат похоронил его на свои средства.

Воспоминания эти опечалили Франца Осиповича, и некоторое время мы пили молча. Потом он снова заговорил.

– Второй директор – Энгельгардт Егор Антонович – был человеком весьма хорошо образованным. Он окончил модный пансион, и свои познания дополнял потом частными уроками латинского языка и математики. Поступил на действительную службу сержантом в Преображенский полк, находился ординарцем при князе Потемкине, затем при князе Куракине… При Павле он был назначен секретарем Мальтийского ордена. А надо сказать, Павел Петрович строго следил за исполнением всех орденских формальностей, и Энгельгардт, имея это в виду, тщательно занялся изучением всех деталей и, в свою очередь, преподал их наследнику. В одном из заседаний Павел Петрович был так поражен обширными познаниями наследника в деле, которым он в ту пору так страстно увлекался, что, обняв его, сказал: «Вижу в тебе настоящего своего сына». Этими отцовскими объятиями Александр был обязан Энгельгардту и никогда этого впоследствии не забывал.

– Мудро! – заметил я.

– Став директором, – продолжил Петель, – Егор Антонович и в свободное время не оставлял забот о вверенных ему молодых людях; он приглашал их к себе домой, твердо веруя, что домашнее обращение, разговор и привычка находиться в его семье принесут огромную пользу его питомцам, оторванным от внешнего мира.

Он ввел у себя еженедельные вечерние собрания, где воспитанники по очереди читали свои сочинения, рассуждали и делали взаимные замечания. По его инициативе устроилось общество под названием «Лицейские друзья полезного», участники которого занимались чтением своих сочинений в присутствии товарищей, профессоров и посторонних посетителей, а не только между собой. Дельвиг и Кюхельбекер были частыми посетителями вечеров Энгельгардта, директора Лицея, Пушкин очень редким; наконец, года за два до выпуска он и вовсе прекратил свои посещения, предпочитая им гулянье по саду или чтение. Это огорчало Егора Антоновича как хозяина и как воспитателя. Как-то во время рекреаций Энгельгардт подошел к нему и со свойственною всегдашнею лаской спросил Пушкина: за что он сердится?

Юноша смутился и отвечал, что сердиться на директора не смеет, не имеет к тому причин и т. д. «Так вы не любите меня», – продолжал Энгельгардт, усаживаясь подле Пушкина – и тут же, глубоко прочувствованным голосом, без всяких упреков, высказал юному поэту всю странность его отчуждения от общества, в котором он по своим любезным качествам может занимать одно из первых мест. Пушкин слушал со вниманием, хмуря брови, меняясь в лице; наконец, заплакал и кинулся на шею Энгельгардту. «Я виноват в том, – сказал он, – что до сих пор не понимал и не умел ценить вас!..»

– О, как преподаватель, не могу не восхититься этой сценой! – поддакнул я.

Пешель охотно вспоминал Пушкина, то, как он поразил всех товарищей ранним развитием, обширным умом и в то же время раздражительностью и необузданностью.

– Ростом он был невелик, но довольно крепкий по сложению. Широкоплечий, худощавый, имел темные курчавые волосы, светло-голубые глаза, высокий лоб, смуглое небольшое лицо и толстые губы. Во всех его движениях видна была робость; он был очень неровен в обращении: то шумливо весел, то грустен, то робок, то дерзок. Также неровен был и его характер: то расшалится без удержу, то вдруг задумается и долго сидит неподвижно. Видишь его поглощенным не по летам в думы и чтение, и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какай-то припадок бешенства из-за каких-то пустяков: из-за того, что другой перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Когда один из профессоров у Дельвига в классе отнимал бранное на господина инспектора сочинение, в то время Пушкин с непристойною вспыльчивостью говорил громко: «Как вы смеете брать наши бумаги, – стало быть, и письма наши из ящика будете брать». Даже его ближайший друг, Пущин, признавал, что Пушкин с самого начала пребывания в Лицее был раздражительнее всех и потому не возбуждал общей симпатии.

– Ох, боюсь, эту свою черту он так и не преодолел, – вздохнул я.

– Учился Пушкин очень небрежно и только благодаря хорошей памяти смог сдать хорошо большинство экзаменов; он не любил математики и немецкого языка. К длительной прилежной работе был неспособен. В нем было мало постоянства и твердости. Был он словоохотен, остроумен, приметно в нем было и добродушие, но в то же время вспыльчив с гневом и легкомыслен. Был умен, но плохо понимал логику, в чем сам признавался. Ум его был блистателен, но логические силлогизмы казались ему невнятными. В погоне за красным словцом часто забывал он свое место и приличествующую его положению скромность. Надо сказать, что этим качеством был он обделен. Так, однажды император Александр Первый Павлович оказал нам честь своим посещением. Ходя по классам, его императорское величество спросил: «Кто здесь первый?» «Здесь нет, ваше императорское величество, первых; все вторые», – отвечал вдруг Пушкин.

Я не удержался от смеха. Расхохотался и Пешель.

– В тот раз сам император, казалось, развеселился и шутник отделался лишь строгим внушением, – продолжил рассказ Франц Осипович, – Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так называемые народные песни, точил на всех эпиграммы…

Пешель вновь опечалился, вспоминая давно уже выросших мальчиков: Пущин в ссылке, Кюхельбекер – в заточении, Дельвиг умер гнилою горячкой….

Мы снова выпили – за упокой. И я принялся расспрашивать Франца Осиповича о телесном здоровье покойного поэта, объяснив, что, будучи сторонником Гиппократова учения о темпераментах, питаю надежду выяснить, как зависел от здоровья тела его дивный дар. Пешель задумался.

– Болел Пушкин, пожалуй, часто: жар, лихорадка… Но болезни не были серьезными и проходили сами через пару дней. Весьма возможно, что происходили они от чрезмерной возбудимости. Холерик! Чистый холерик! В рапортах указывал я обычно что-то вроде «нездоров», «головная боль» и чаще всего «простуда». Один раз только пришлось записать «опухоль от ушиба щеки».

– Была драка?

– Не изволь сомневаться! Но Александр всегда поправлялся очень быстро, проводя на больничной конце три или пять дней… Прописывал я ему солодковый корень, он не вредит, умягчает горло, полезен желудку… благо серьезные поветрия нас миновали! Но видать мое лечение шалуну чем-то не понравилось. Может, микстура была горькой? Он меня поддел. – И Пешель принялся цитировать: «Заутра с свечкой грошевою/ Явлюсь пред образом святым: / Мой друг! остался я живым, / Но был уж смерти под косою; / Сазонов был моим слугою, / А Пешель – лекарем моим». Экий рифмоплет был уже тогда!

– Сазонов! А что за Сазонов?

– Как, ты не знаешь? Ах! Ах, мы все тут ходили «смерти под косою». – Пешель воздел руки к небу. – Я ж тебе рассказывал, что к лицеистам были приставлены «дядьки», а попросту говоря – слуги, в обязанности которых входило убирать им комнаты, чистить одежду и обувь. Одному из них – Константину Сазонову, было всего лишь двадцать лет, когда его арестовали и осудили за шесть или семь убийств и девять разбойных нападений. Последним от его рук погиб извозчик, на нем Сазонов и «погорел»: пожадничал из-за оброненного полтинника. Именно Сазонов прислуживал Пушкину в лазарете.

– О, тут не мудрено перепугаться на всю жизнь! – заметил я.

– Саша был не из пугливых, – проронил Пешель.

– А что с ним потом стало? Я о Сазонове.

– Вот этого не знаю. Осудили… На каторгу…

– Наверное, многие были напуганы до смерти…

– Уж не знаю, не знаю! Напугать шалунов было нелегко. Зато эти юные пииты коллективно состряпали целую эпическую поэму о похождениях злодея.

Пешель поднялся со своего места и ушел куда-то в заднюю комнату. Я прождал довольно долго, пока он снова появился с какой-то разлапистой тетрадью в руках. Между ее

страниц было заложено еще множество исписанных листков. Вынув один из них, Пешель стал читать:

Тихо все в средине града,
И покой лишь обитает:
Из Лицея, как из ада,
Вдруг Сазонов выступает
С смертоносным топором,
На разнощика летит
И, встретясь с добрым сим купцом,
Уже готовится убить.

Уже в сени глубокой ночи
Топор ужасный он извлек,
И страшно засверкали очи,
И взором смерть ему изрек,
И вдруг в одно мгновенье
Ему всю голову расшиб.
А мальчик в сопровожденьи
Его рукою же погиб.

Я рассмеялся сему не слишком умелому творению.

– Да уж, таланты у вас подрастали! – воскликнул я.

– И не говори! – вторил мне Пешель. – Ох, сколько анекдотов можно припомнить об этих талантах! Знаешь, однажды воспитанникам Лицея было задано написать в классе сочинение о восходе солнца. Все ученики уже кончили сочинение и подали учителю; дело стало за одним, который, будучи, вероятно, рассеян и не в расположении в эту минуту писать о таком возвышенном предмете, только вывел на листе бумаги следующую строчку: *«Восстал на Западе блестящий сын природы…»* «Что ж ты не кончаешь?» – сказал автору этих слов Пушкин, который прочитал написанное. «Да ничего на ум нейдет, помоги, пожалуйста, – все уже подали, за мной остановка!» «Изволь!» – И Пушкин так окончил начатое сочинение:

И изумленные народы
Не знают, что начать:
Ложиться спать
Или вставать?

Тотчас по окончании последней буквы сочинение было отдано учителю, потому что товарищ Пушкина, веря ему, не трудился даже прочитать написанного.

Можете себе представить, каков был хохот при чтении сочинения двух лицеистов.

– Да уж, представляю! – ответил я, смеясь.

– Любил он приносить жертвы Бахусу и Венере, – продолжил рассказ Пешель, – волочился за хорошенькими актрисами графа Толстого, причем проявлялись в нем вся пылкость и сладострастие африканской природы. Пушкин был до того женолюбив, что, будучи еще пятнадцати или шестнадцати лет, от одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна, взор его пылал… – со смаком проговорил Пешель. – А про эпизод с княжной Волконской ты знаешь? Знаешь! Я хорошо помню ту горничную Наташу, из-за которой и вышла ошибочка: лицеисты проходу ей не давали, так и норовя полюбезничать с ней в каком-нибудь темном углу. Друзья тогда советовали Пушкину во всем открыться Энгельгардту и просить его защиты, но Пушкин на это никак не соглашался. Горд он был чрезмерно. Между тем

Волконская успела пожаловаться брату своему, а тот – государю. Государь на другой день приходит к Энгельгардту. «Что ж это будет? – говорит царь. – Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей. Энгельгардт своим путем знал о неловкой выходке Пушкина, признаюсь – от меня, а я от… да не важно! Директор сразу нашелся и отвечал императору Александру: «Вы меня предупредили, государь, я искал случая принести вашему величеству повинную за Пушкина; он, бедный, в отчаянии: приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтоб она великодушно простила ему это неумышленное оскорбление». Тут Энгельгардт рассказал подробности дела, стараясь всячески смягчить кару Пушкина, и присовокупил, что сделал уже ему строгий выговор и просит разрешения насчет письма. На это ходатайство Энгельгардта государь сказал: «Пусть пишет, уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина; но скажи ему, чтоб это было в последний раз. Старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека, между нами говоря», – шепнул император, улыбаясь, Энгельгардту и пожал ему руку.

Этот уже известный мне анекдот развеселил нас.

– Хуже была история с распитием гогель-могеля, – вспоминал Франц Осипович. – Я ж упоминал про жертвы Бахусу! Шалость приняла серьезный характер и могла иметь пагубные последствия. Один из надзирателей поспособствовал шалунам достать бутылку рома. Они добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. После распития сего напитка дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот после ужина всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Поначалу взволновались, не больны ли – вызвали меня. Но все выяснилось быстро. Тут же начались опросы, розыски. Надо сказать, что шалуны не дрогнули перед суровостью начальства: Пушкин, Пущин… и другие явились и объявили, что это их вина. Сам Разумовский приехал из Петербурга – сделал шалунам формальный строгий выговор. Этим не кончилось – дело поступило на решение конференции. Конференция постановила две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, сместить шалунов на последние места за столом, где они сидели по поведению, и занести фамилии их с прописанием виновности и приговора в черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске.

Первый пункт приговора был выполнен буквально. Второй смягчался по усмотрению начальства: по истечении некоторого времени их постепенно подвигали опять вверх. При этом случае Пушкин сказал:

Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.

Франц Осипович снова принялся хохотать. Смеялся и я.

– Впрочем, иные из его выходок были и не поэтические, – продолжал Франц Осипович. – Однажды он побился об заклад, что рано утром в Царском Селе выйдет перед дворцом, станет раком и подымет рубашку.

Он выиграл заклад! Несколько часов спустя его зовут к вдовствующей императрице. Она сидела у окна, видела всю проделку, вымыла ему голову порядочно, но никому о том не сказала.

– Ох ты… – охнул я.

– А однажды, гуляя по саду, он увидел, что царь идет один вдоль по аллее; тотчас он вышел в аллею из-за деревьев и, несколько сгорбясь, согнув локти, сжав кулаки, размахивая руками, пошел за ним вослед, корча его походку. Царь увидел это. «Пушкин!» Дрожа, подошел он к царю. «Стань впереди меня. Ну! Иди передо мною так, как ты шел». – «Ваше величество!» – «Молчать! Иди, как ты шел! Помни, что я в третий раз не привык приказывать». Так прошли они всю аллею. «Теперь ступай своею дорогою, а я пойду своею, мне некогда тобою заниматься».

– Опасно, – пробормотал я.

– Директор Лицея хотел его наказать за сию проказу, так он ножом черкнул себе по руке и нанес себе такую глубокую рану, что принуждены были заняться не наказанием, а лечением.

– Ух ты… А ведь болтали как-то, что Пушкина-таки высекли? Правда ли это?

– Нет, не верю! – ответил мне Пешель. – Хоть слухи и помню. Он бы такого унижения не пережил. Всегда был самолюбив до крайности. Насмешек не выносил, бросался на обидчика чуть что.

– Ну а тут на кого бросаться? На Шешковского?

– Он бы руки на себя наложил… – покачал головой Пешель. – Помню, как болтали и он бесился… Но то вранье было.

– Значит, болтали из зависти.

– С завистью он рано познакомился, – серьезно ответил Пешель. – Пушкин начал прославляться в 1815 году, когда он читал в лицее стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Дряхлый старик Державин одушевился, он хотел Пушкина обнять; но его не нашли, он бежал. Я слышал, что будто бы Державин сказал: «Вот кто займет мое место».

Вскоре начали появляться «Кинжал», «Деревня», святочные вирши, эпиграммы, потом отрывки из восхитительной «Руслана и Людмилы», а там неподражаемые мелкие стихотворения, и к 1820 году Пушкин стал знаменитостью окончательно. Везде повторялись, списывались его стихи. Не могущие пройти цензуру были у всех в копиях и в устах. Только и слышно было: «Читали ли вы новую пьесу у Пушкина?» Будуары, Марьина роща, общая застольная в ресторации, место свидания с любовницею, плац в ожидании генерала, приехавшего делать смотр, – везде раздавались стихи Пушкина. Журналы, где он их помещал, расходились до последнего экземпляра.

– Стал быть, платили ему немало, – предположил я. – Отчего же он вечно был без денег?

– Проигрывался! – сразу же ответил Франц Осипович. – Ему платили по золотому от стиха, но он все спускал. А нередко он проигрывал в штосс сами свои строки, как чистые деньги.

Признаться, слышать это было уже совсем не так весело, как лицейские анекдоты о проделках юного Пушкина.

– А ведь я встречал нашего пиита и после, – сказал Франц Осипович после паузы. – Было это году этак в двадцать восьмом, и встреча наша меня не порадовала: Пушкин был уже далеко не юноша, тем более что после бурных годов первой молодости и после тяжких болезней он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице, но все еще хотел казаться юношей. Раз как-то, не помню, по какому обороту разговора, я произнес стих его, говоря о нем самом:

– Ужель мне точно тридцать лет?

Он тотчас возразил: «Нет-нет, у меня сказано: ужель мне скоро тридцать лет. Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью». Надо заметить, что до рокового термина оставалось всего несколько месяцев.

– Нам всем свойственно пытаться удержать молодость, – заметил я.

– Это так. Но тридцать лет – далеко не старость, а Александр выглядел уже таким измученным и уставшим. Кажется, в этот же раз я сказал, что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его грустный, меланхолический, и если он иногда бывает в веселом расположении, то редко и не надолго.

Пушкина многие считали веселым и беззаботным, но по моим впечатлениям был он характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти; чтоб умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха; ему не надобно было причины, нужна была только придирка к смеху! – заметил Франц Осипович. – В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и будто бы ему самому при этом

невесело на душе.

Тут я был вынужден с ним согласиться.

* * *

Рассказ доктора Пешеля вновь подтверждает нервность и неровность характера Пушкина. Следует обратить внимание на, возможно, имевшую место гомосексуальную связь, что говорит скорее не о склонностях его натуры, а о необузданности темперамента, а также на имевшую место суицидальную попытку.

Спасский упоминает учение Гиппократа о темпераментах, а Пешель тут же называет Пушкина холериком, что, по всей видимости, верно. Как мы знаем, холерик – это человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением, вследствие чего он реагирует очень быстро, часто необдуманно, не успевает себя затормозить, сдержать, проявляет нетерпение, порывистость, резкость движений, вспыльчивость, необузданность, несдержанность. А именно эти черты мы можем наблюдать в характере Пушкина.

В то же время неуравновешенность его нервной системы предопределяет цикличность в смене его активности и бодрости: увлекшись каким-нибудь делом, он страстно, с полной отдачей работает, но сил ему хватает ненадолго, и, как только они истощаются, он дорабатывается до того, что ему все невмоготу. Именно такую смену настроений можно наблюдать у Пушкина, писавшего только по вдохновению.

У холериков в период упадка появляется раздраженное состояние, плохое настроение, упадок сил и вялость. Чередование положительных циклов подъема настроения и энергичности с отрицательными циклами спада, депрессии обусловливает неровность поведения и самочувствия, его повышенную подверженность к появлению невротических срывов и конфликтов с людьми.

Все эти черты наблюдаются у великого русского поэта.

Глава 7

Так случилось, что впервые увидел я Наталью Николаевну, впоследствии ставшую моей пациенткой, в доме ее свекра – Сергея Львовича. Госпожа Пушкина была очень красива, стройна и изящна, и во всем ее облике чудилось нечто поэтическое и трогательное. До встречи с этой женщиной полагал я, что молва преувеличила ее красоту. Теперь же я мог лично убедиться в ее телесном совершенстве. Была она ростом высокая, с баснословно тонкой талией при роскошно развитых плечах и груди. Как врач, я предположил, что молодая женщина злоупотребляет корсетом. Ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее. Она соединяла в себе законченность классически правильных черт и стана. Однако нельзя было назвать ее образцом здоровья и веселья: бледная, часто печальная, она носила на челе печать страдания. Она была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. Постоянная задумчивость туманила ее черты, голова склонялась, словно она терпела какую-то внутреннюю муку.

Я гадал о причинах этой печали и осмелился задать вопрос Сергею Львовичу. Его ответ меня обескуражил:

– Сплетни, постоянно распускаемые насчет Александра, мне тошно слышать! – вспылил он. – Знаете ли, что, когда Натали выкинула, сказали, будто это следствие его побоев. Но вы в это не смейте верить! Это все ложь!

Я заверил отца семейства, что ни в коем случае не стану верить этим слухам и что вполне понятно, что молодая женщина печалится из-за случившегося выкидыша, который мог произойти в силу самых разных причин. Но Сергей Львович меня не слушал. Он продолжил свою гневную тираду несколько невпопад:

– Наконец, сколько молодых женщин уезжают к родителям провести два или три месяца в деревне, и в этом не видят ничего предосудительного, но ежели что касается до него или до Леона – им ничего не спустят!

Я не очень понимал, о чем идет речь, но побоялся выяснять.

– Александр очень несдержан. Крайне несдержан. Экой дурак! Раз он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками!.. – Сергей Львович разгорячился и сам принялся бурно жестикулировать. – Но я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец… то как христианин, – заверил меня он.

Беседа наша оставила меня в состоянии крайнего замешательства. Я даже был склонен предположить, что Александр Сергеевич и в самом деле временами принимался «учить жену», но эти мои измышления оказались, на счастье, неверными, в чем я скоро убедился.

Надежда Осиповна продолжала хворать, и я навещал ее все чаще и чаще. Обстоятельства семейной жизни сына часто беспокоили старую женщину.

– Натали мне рассказывала, что Саша в первый же день брака, как встал с постели, так и не видал ее. К нему пришли приятели, с которыми он до того заговорился, что забыл про жену и пришел к ней только к обеду. Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами.

В тот раз мы оправдали случившееся непривычкой Пушкина к семейной жизни.

Через несколько месяцев случился похожий разговор. На этот раз Александр Сергеевич пропал из дому на трое суток. Оказалось, что на прогулке он встретил дворцовых ламповщиков, ехавших в Петербург, добрался с ними до Петербурга, где попался ему возвратившийся из Польши из полку своего Данзас, и с ним пошел кутеж…

Да, причины постоянной печали прекрасной Натальи Николаевны становились мне понятными.

* * *

Медицинская профессия подразумевает часто и порой весьма близкое общение с людьми самого разного рода. И хоть я не мог почитать себя человеком светским, однако же

бывал в домах особ самых знатных, и довольно часто они одаривали меня своей откровенностью. Так, одна весьма почтенная княгиня довольно много рассказала мне о семействе Гончаровых.

– Ах, милейший мой Иван Тимофеевич, – закатывая глаза, рассказывала княгиня Екатерина Алексеевна, – я вовсе не сплетница, а то бы могла порассказать вам такое! Но исключительно как врачу и рассчитывая на вашу скромность… к тому же многие вещи вам даже и нужно было бы знать. Вам доводилось встречаться с Натальей Ивановной? Да-да, матерью нашей превознесенной всеми Косой Мадонны? Мне пришлось узнать ее весьма близко, даже ближе, чем мне бы хотелось.

Естественно я поспешил осведомиться, что же такого неприятного было в этом знакомстве. Княгиня поджала губки:

– Наталья Ивановна Гончарова довольно умна и несколько начитанна, но имеет дурные, грубые манеры и какую-то пошлость в правилах. У нее есть несколько сыновей и три дочери, Катерина, Александра и Наталья. В Яропольце около двух тысяч душ, но, несмотря на то у нее никогда нет денег и дела в вечном беспорядке. В Москве она жила почти бедно, и когда Пушкин приходил к ней в дом женихом, она всегда старалась выпроводить его до обеда или до завтрака. Да-да, батюшка мой, чтоб не кормить! Ужасная скупость!

Дородное лицо ее выразило отвращение.

– Дочерей своих бивала она по щекам. – Княгиня изобразила ужас. – На балы они иногда приезжали в изорванных башмаках и старых перчатках. Я хорошо помню, как на одном балу мне пришлось увести юную Натали в другую комнату и дать ей свои новые туфельки, потому что ножки ее были обуты просто ужасно, а бедняжке приходилось танцевать с Пушкиным, который непременно обратил бы внимание… Да и все бы заметили эту неприглядную деталь.

Я немедленно выразил горячее сочувствие невесте и ее жениху. Екатерина Алексеевна вполне разделяла со мной это чувство.

– Бедный Пушкин оставался женихом чуть ли не целый год до свадьбы, – рассказывала она. – Когда он жил в деревне, Наталья Ивановна не позволяла дочери самой писать к нему письма, а приказывала ей писать всякую глупость и между прочим делать ему наставления, чтобы он соблюдал посты, молился Богу и пр. Бедная Натали даже плакала от этого.

Я заметил, что Наталия Николаевна показалась мне очень грустной и предположил, что причина, вероятно, кроется в ее воспитании. Княгиня со мной охотно согласилась.

– Болтают, что Александр Сергеевич с ней жесток, но это вовсе не так! – заявила она. – Напротив! Был раз, когда Натали дала ему пощечину, приревновав к кому-то на балу. – Она прижала пальцы к губам и захихикала. – Он тогда совсем не обиделся, даже шутил, что у его женушки рука тяжелая. – Княгиня улыбнулась. – Он так ее любит, что ему приятна была ее ревность как знак ответного чувства. Будучи женихом, когда Наталья Ивановна все тянула со свадьбой, он так настаивал, чтобы поскорее их обвенчали, но Наталья Ивановна напрямик ему объявила, что у нее нет денег.

Тогда Пушкин заложил имение, привез денег и просил шить приданое. И как вы думаете, на что эта женщина потратила привезенное? – Княгиня заговорщически улыбнулась. – На собственные наряды! А в самый день свадьбы она послала сказать ему, что надо еще отложить, что у нее нет денег на карету или на что-то другое. Пушкин опять послал денег. Венчались в приходе невесты у Большого Вознесения. Во время венчания нечаянно упали с налоя крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. – Она прижала кончики пальцев к вискам. – Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свечка. Александр Сергеевич счел это за дурные предзнаменования.

Я сочувственно закивал.

– Но потом Наталья Ивановна была очень довольна замужеством своей дочери, – поведала мне княгиня. – Она полюбила Пушкина, слушалась его. Он с ней обращался как с ребенком. Может быть, она сознательнее и крепче любила его, чем сама жена. Но раз у них

был крупный разговор, и Пушкин чуть не выгнал ее из дому.

– Но из-за чего же?

Княгиня закатила глаза.

– Александр Сергеевич объяснил, что мадам Гончарова вздумала чересчур заботиться о спасении души своей дочери.

– Но возможно ли, чтобы чересчур? – подивился я.

– Ах, мой милый Иван Тимофеевич! – воскликнула княгиня. – Правда куда неприятнее: Наталья Ивановна стала очень несносна: просто-напросто пила. Да-да, Иван Тимофеевич, пила с лакеями целый день и к полудню становилась уже совсем навеселе. Я рада, что Натали не унаследовала этот ее порок.

Княгиня с любопытством посмотрела на меня. Очевидно, что она очень желала услышать от меня подтверждение или опровержение своих слов. Я согласился, что это было бы великим несчастьем, но, к великой радости, ничего подобного за Натальей Николаевной я не замечал. Мне показалось, что княгиня расстроилась.

К величайшему моему сожалению, должен я был признать правоту Сергея Львовича: любой шаг, любой день Александра Сергеевича становился предметом сплетен и самого горячего обсуждения. Знакомством с ним гордились, но при этом не упускали случая пустить по его адресу шпильку.

– Знал я вашего Пушкина еще в Кишиневе! – с презрительной гримасой высказался ее супруг князь Долгоруков, сын известного писателя. – Болтал он много. Помню, обедал я у генерала Инзова, Пушкина не умолкал ни на минуту, пил беспрестанно вино и после стола дурачил нашего экзекутора. Жаль молодого человека. Он с дарованиями; но рассудок, кажется, никогда не будет иметь приличного ему места в сей пылкой головушке, а нравственности и требовать нечего. Может ли человек, отвергающий правила веры и общественного порядка, быть истинно добродетелен? – Не думаю.

Этот Долгоруков был крайне неприятным и ограниченным типом. Из тех, что почитают себя вправе судить обо всем, но на самом деле неспособны видеть дальше собственного носа.

– Ему надобно было переделать себя и в отношении к осторожности, внушаемой настоящим положением, – разглагольствовал князь, – а это усилие, встречая беспрестанный отпор со стороны его свойства, живого и пылкого, едва ли когда ему удастся. Вместо того чтобы прийти в себя и восчувствовать, сколько мало правила, им принятые, терпимы быть могут в обществе, он всегда готов у наместника, на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку.

Увы, я должен был признать некоторую правдивость его слов, вспомнив злую шутку о Бенкендорфе, оброненную Пушкиным буквально в первые же минуты нашего знакомства, и еще многие его неосторожные остроты. Рисковать, дразнить собеседников было для нашего поэта столь же естественно, как для другого просматривать газеты по утрам.

*** * ***

В другом доме услышал я анекдот, напомнивший мне скорее новеллу Бокаччо.

– При дворе была одна дама, друг императрицы, стоявшая на высокой степени придворного и светского значения, – стреляя глазами поведала мне молодая дама, недавно разрешившаяся от бремени и теперь вынужденно скучавшая взаперти в своем дому. – Муж ее был гораздо ее старше, и несмотря на то ее младые лета не были опозорены молвою; она была безукоризненна в общем мнении – любящего сплетни и интриги света.

Эта блистательная, безукоризненная дама наконец поддалась обаянию поэта и назначила ему свидание в своем доме. Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец; по условию он лег под диваном в гостиной и должен был дожидаться

ее приезда домой. Долго лежал он, терял терпение, но оставить дело было уже невозможно, воротиться назад – опасно. Наконец, после долгих ожиданий он слышит – подъехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины: они возвращались из театра или из дворца. Через несколько минут разговора фрейлина уехала в той же карете. Хозяйка осталась одна.

Мгновение – и Пушкин был перед нею. Они перешли в спальню. Дверь была заперта, густые, роскошные гардины задернуты. Начались восторги сладострастия. Они играли, веселились. Пред камином была разостлана пышная полость из медвежьего меха. Они разделись донага, вылили на себя все духи, какие были в комнате, ложились на меха… – Моя собеседница зарделась словно роза. Я грешным делом подумал о том, что тут она описывает собственные мечтания.

– Быстро проходило время в наслаждениях, – продолжила она со вздохом. – Наконец Пушкин как-то случайно подошел к окну, отвернул занавес и с ужасом видит, что уже совсем рассвело. Уже белый день. Как быть? Он наскоро, кое-как оделся, спеша выбраться. Смущенная хозяйка повела его к стекольным дверям выхода. Но люди уже встали. У самых дверей они встретили дворецкого, итальянца. Эта встреча до того поразила хозяйку, что ей сделалось дурно; она готова была лишиться чувств, но Пушкин, сжав ей крепко руку, умолял ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для себя самой. Женщина преодолела себя. В своем критическом положении они решились прибегнуть к посредству третьего лица. Хозяйка позвала свою служанку, старую, чопорную француженку, уже давно одетую и ловкую в подобных случаях. К ней-то обратились с просьбою провести из дому. Француженка взялась. Она свела Пушкина вниз, прямо в комнаты мужа. Тот еще спал. Шум шагов его разбудил. Его кровать была за ширмами. Из-за ширм он спросил: «кто здесь?» «Это я», – отвечала ловкая наперсница и провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел: если б кто его здесь и встретил, то здесь его появление уже не могло быть предосудительным. На другой же день Пушкин предложил итальянцу-дворецкому золотом тысячу рублей, чтобы он молчал, и хотя он отказывался от платы, но Пушкин принудил его взять. Таким образом все дело осталось тайною. Но блистательная дама в продолжении четырех месяцев не могла без дурноты вспоминать об этом происшествии.

Истории этой я нисколько не поверил. Уже один только эпизод с духами был совершенно фальшивым: в комнате и продохнуть-то нельзя бы было, коли они, как утверждала молодая дама, «вылили на себя все духи».

* * *

Спустя несколько месяцев после этой деликатной беседы я получил приглашение в дом Александра Сергеевича для оказания услуг его приболевшей супруге. В письме он извинялся за то, что сразу же не воспользовался моим медицинским опытом, и очень вежливо просил меня прийти к нему в дом. Конечно, я поспешил к нему.

Как я уже говорил, была Наталья Николаевна несомненной красавицей. Однако лицо ее, хоть и прекрасное, было лишено той яркости выражения, что порой оживляет и самые заурядные черты. Походила она на куклу, коей для имитации жизни нужны веревочки кукло-водителя. В отсутствие этой поддержки голова Натальи Николаевны бессильно поникала, поникали и плечи, безвольно опускались руки. В отличие от Надежды Осиповны и в старости, и в болезни остававшейся деятельной и говорливой, Наталья Николаевна могла оставаться в праздном безделии целый день. Она проводила время, с улыбкой наблюдая за детьми, лениво перелистывая страницы книги (не могу сказать «читая») или просто глядя в окно.

По некоторым признакам понимал я, что и ее не обошла стороной hysteria, поразившая многих светских дам. Однако имела эта женщина черту, весьма привлекательную: что бы она ни говорила, самый вздор облекался в ее устах подобием глубины и мысли, неким

поэтическим очарованием. Справедливости ради замечу, что была она хорошей, внимательной матерью и за детьми, за их здоровьем следила исправно.

Хворь ее оказалась неопасной, связанной с ее благословенным состоянием, но супруги опасались второго выкидыша. Я закончил осмотр пациентки и дал рекомендации, когда лакей доложил, что Александр Сергеевич желает со мной говорить. Лакей проводил меня в его кабинет. Пушкин сидел за столиком с туалетными принадлежностями и полировал свои знаменитые длинные ногти, так напоминавшие впечатлительным особам когти дьявола. Волосы его с прошлой нашей встречи поредели еще сильнее, морщины стали глубже. Он похудел, а цвет лица его стал нездорово желтым. Я не мог не отметить, что выглядел он старше своих лет.

– А я боялся, что здесь, в столице, вы и видеть меня не захотите, – признался я, поздоровавшись.

– Отчего же не захочу? – с удивлением спросил Пушкин.

– Тогда на станции мы с вами беседовали долго и по душам. А будучи с кем-то откровенными, люди потом часто жалеют об этом и сторонятся того, кто вызвал их на откровенность.

– Это верно, – с улыбкой кивнул Пушкин. – Но вы, как я вижу, не употребили мою откровенность во зло – это я бы уже знал.

Он предложил мне сесть и спросил, какие рекомендации я дал Наталье Николаевне. Я повторил супругу то, что уже говорил ей самой: отдыхать, корсет шнуровать не туго, ходить, прогуливаться часа по два в сутки.

– Я стану следить, чтобы она не напроказила и вас слушалась, – пообещал он.

В руках у Александра Сергеевича была книга.

– Что вы читаете? – полюбопытствовал я.

– Да вот читаю историю одной статуи, – ответствовал Александр Сергеевича.

Я пригляделся внимательнее и разобрал, что это Евангелие.

– Зачем же вы такое говорите, Александр Сергеевич? – изумился я. – Понимаю, я человек перед вами небольшой, со мной можно не церемониться, но я если я донесу, что вы безбожник, бумагу подам? И вас за это накажут.

Пушкин смутился не на шутку.

– Я думаю, вы не станете доносить, – проговорил он. – И я вовсе не хотел задеть ваши чувства.

– Но зачем же вы так нехорошо сказали? – спросил я.

– Да так, – ответил он, – само как-то с языка слетело. Вы не станете обижаться?

– Не стану.

– Вы это правдиво говорите? – уточнил он.

Вид у него был настолько виноватый, что мне стало неловко.

– Правдиво и от всего сердца, – заверил его я. – Атеист вряд ли бы стал читать наедине с собой Евангелие. Да к тому же «Демон» и многие другие стихотворения показывают, что в душе вашей таится глубокая, благотворная теплота, источник самого искреннего верования.

– Ах, как вы красиво выразились! – полувосхитился, полупосмеялся Пушкин. – Да, Святой дух иногда мне по сердцу, но обычно я все же предпочитаю Гёте и Шекспира. И меня не раз обвиняли в атеизме. Даже и доносы на меня писали.

– Как я сумел понять, Александр Сергеевич, – сказал я, – обвиняли вас во многом. Но все ли обвинения правдивы?

– Лгут много, – кивнул поэт, – Все возмутительные рукописи ходят под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет отказываться. Слабость непозволительная. Однако были времена, когда я брал уроки чистого афеизма.

– И кем же был ваш учитель? – поинтересовался я.

– Дело было в Одессе… – Пушкин стал очень серьезен и невесел. – Отец графа Воронцова был послом в Англии. Следует ли удивляться, что личным врачом Михаила

Воронцова стал выдающийся английский хирург Хатчинсон, единственный умный афей[6] из всех, кого я встречал. В самом доме наместника я часто встречался с этим глуховатым философом, доктором-англичанином, который и учил меня философии атеизма. Он исписал листов тысячу, чтобы доказать, что не может быть существа разумного, творца и правителя, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная. Впоследствии он сделался невольным орудием моей катастрофы.

В том перехваченном письме, послужившем поводом для подлого доноса на меня Воронцова, говорилось именно о его уроках.

– А что же сам Хатчинсон?

– Долечив болевшего Воронцова, он подал в отставку и уехал в Англию, как ни просило его остаться сиятельное семейство.

Мы оба молчали с минуту.

– Знаете, – вдруг с жаром проговорил Пушкин, – чтобы вы совсем на меня не обижались, пользуйтесь моей библиотекой. Каких авторов вы предпочитаете? Наверное, скучных?

– Да, наверное, скучных, – сухо подтвердил я.

– И это замечательно! – возликовал он. – В тюрьме и в путешествии всякая книга есть Божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из Английского клуба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как арабская сказка, если попадется вам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением – оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания, etc. Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша; не говорю о книгах ученых, но и о книгах, писанных с целью просто литературною. Многие читатели согласятся со мною, что «Кларисса» очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство. Ну так согласны даровать мне свое прощение в обмен на скучные книги?

Он выглядел таким расстроенным и огорченным, что я поневоле улыбнулся и пообещал простить его от всей души. Я назвал свои предпочтения, среди которых оказалось и имя англичанина Шекспира. Пушкин возликовал.

– Вы читаете по английски? – спросил он.

– Немного, – признался я. – Предпочитаю все же немецкие переводы… или французские, хоть и не так хорошо знаком с этим языком.

– Вы не назвали русских переводов, – с улыбкой проговорил Пушкин. – И правильно! Все они выполнены не с оригинала, а с французских и немецких версий. Где у Вронченки сила и свобода Шекспировы? Все у него связано, все приневолено, везде виден труд, везде русский язык изнасилован. А вы видели перевод Ротчева? Каков! Переводил с шиллеровской переделки и озаглавил: «Макбет. Трагедия Шекспира. Из сочинений Шиллера». – Пушкин рассмеялся, но без веселья. – И Вельяминов, и Висковатов, и Гнедич, следуя дурной традиции, уродуют английского поэта, холостят его дух! Мой опальный друг Кюхля влюблен в своего английского тезку. Он перевел несколько пьес Шекспира, но ни один перевод не увидел свет, а жаль: они неплохи… Хотя и он тоже переводил «Сон среди летней ночи» с немецкого.

– Возможно, для российской публики Шекспир несколько груб, – предположил я. – Не зря же цензура…

---

[6] Атеист.

– Цензура! – взъярился Пушкин. – Чопорная и стыдливая дура! А чего можно ожидать от критики, извечно озабоченной фобиями и маниями, – от критики, оценившей «Отелло» как «беспутнейшую из пьес»…

– Но перевод Полевого неплох, – робко напомнил я о книге, только-только увидевшей свет. Я ожидал возражений, но Пушкин со мной согласился.

– «Мы плачем вместе с Гамлетом и плачем о самих себе», – процитировал он фразу автора и тут же продолжил: – Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и разносторонние характеры. У Мольера скупой скуп – и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. Когда я писал своего «Бориса Годунова», то расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира. Ах, что это был за человек! Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик! У меня кружилась голова после чтения Шекспира. Я как будто смотрел в бездну… Помните, вы спрашивали меня о вдохновении? Замысел «Графа Нулина» возник у меня при чтении «Обесчещенной Лукреции». И как мне обидно за «Анджело». Вначале я хотел просто перевести пьесу «Мера за меру», а получилась поэма. Критики думают, что это одно из моих слабых сочинений, тогда как ничего лучше я не написал.

Я совершенно искренне признался, что поэма эта мною читана и мне понравилась очень.

– А сколь реальны, как жизненны описанные им характеры! – продолжал говорить Пушкин. – Знаете, в молодости моей случай сблизил меня с человеком, в коем природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его гениальное создание. Это был второй Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную: он был женат. И жена этого русского Фальстафа была одарена от природы именно таким характером, какой нужен для героини веселой комедии, приближающейся к фарсу. Звали ее Аглая. Была она весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая, как настоящая француженка, искала в шуме развлечений средства не умереть со скуки в варварской России. Она в Каменке была магнитом, привлекавшим к себе железных деятелей Александровского времени. От главнокомандующих до корнетов все жило и ликовало в Каменке, но – главное – умирало у ног прелестной Аглаи. Я увлекался ею, но вскоре оставил, чем весьма обидел перезрелую красотку.

У Аглаи была премиленькая дочь, девочка лет двенадцати. Чтобы позлить мать, я вообразил себе, будто в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом я принялся играть с ней в гляделки и изрядно напугал бедняжку. Она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать. Приятель даже пожурил меня, указав, что своими взглядами я совершенно смутил дитя. Я отшутился тогда, сказав, что хочу наказать кокетку, мол, прежде она со мною любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет даже взглянуть. После с большим трудом нам удалось заставить девочку улыбнуться. Но кажется, я перестарался: мать взревновала, и не на шутку. Позже я узнал, что она чуть ли не насильно постригла дочь в монахини, обратив в католичество. В обители урсулинок. А сама Аглая, как мне передавали, умерла – от венериной болезни. Судьба наказала?

– Скорее она сама себя наказала невоздержанной своей жизнью, – заметил я.

– Да, я и забыл, что вы моралист. Скажите, я вас не задерживаю? Нет ли у вас срочных дел, страждущих больных, готовых отдать Богу душу без вашей участливой помощи?

– Нет-нет, Александр Сергеевич, – заверил его я. – В настоящий момент ничего такого нет. но, возможно, это я злоупотребляю вашим временем?

– Как можно! Я же сам позвал вас сюда, – улыбнулся он. Зубы его по-прежнему сияли белизной. Он повернулся к книжным полкам и вытащил книгу, по-видимому изданную в конце прошлого столетия.

– Однажды, собравшись в дорогу, зашел я к старому моему приятелю, коего библиотекой привык я пользоваться. Я просил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении. «Постой, – сказал он мне, – есть у меня для тебя книжка». С этими словами он вынул ее из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михайла Хераскова. «Прошу беречь ее, – сказал он таинственным голосом. – Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность».

Александр Сергеевич показал мне небольшой томик. Я прочел название, это было «Путешествие из Петербурга в Москву» с эпиграфом: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь, ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика.

– Радищев в главе «Черная Грязь» говорит о браках поневоле и горько порицает самовластие господ и потворство… – Пушкин глянул на страницу, – градодержателей… Хм? Городничий, наверное, – предположил Пушкин. – Вообще несчастие жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание – или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене, – принялся рассуждать он. – Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный. Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она замуж? «По страсти, – отвечала старуха, – я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь». Таковые страсти обыкновенны. Неволя браков давнее зло. Недавно правительство обратило внимание на лета вступающих в супружество: это уже шаг к улучшению. Осмелюсь заметить одно: возраст, назначенный законным сроком для вступления в брак, мог бы для женского пола быть уменьшен. Пятнадцатилетняя девка и в нашем климате уже на выданье, а крестьянские семейства нуждаются в работницах…

– Счастливы ли вы, Александр Сергеевич? – осмелился спросить я, удивленный этими печальными суждениями.

Мой вопрос, казалось, удивил его.

– Счастлив. Почему вы сомневаетесь? – спросил он.

Почему-то я не решился сказать правду.

– Из-за ваших прежних высказываний о женском поле, – с улыбкой объяснил я.

Пушкин облегченно рассмеялся.

– Да, меня порой упрекают в изменчивости мнений. Может быть: ведь одни глупцы не переменяются. Молодость моя прошла шумно и бесплодно, вы знаете и, как я понял, осуждаете тот образ жизни. – Я хотел было возразить, но он жестом остановил меня. – Вы правы в этом: счастья мне не было. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступил, как все люди. К тому же женился без упоения, без ребяческого очарования, хладнокровно взвесив все выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Будущность являлась мне не в розах, но в строгой наготе своей.

– И не обманула?

– Нет, – улыбнулся он. – А Натали так прекрасна! Недаром в свете ее прозвали Мадонной. Она моя сто тринадцатая любовь. Косая Мадонна… Вы обратили внимание, какой у нее взгляд? Чуть неточный, и в этом такое очарование! Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только что начинали замечать в обществе. Я ее полюбил, голова у меня закружилась, я просил ее руки. Ответ ее матери при всей его неопределенности едва не свел меня с ума. Тогда Натали получила от меня прозвище Карс по названию неприступной турецкой крепости, которую я непременно должен был взять. Я не оставлял попыток – и взял свое! А потом уже понял, что моя женка прелесть не по одной наружности. – Он улыбнулся. – К тому же зависимость жизни семейной делает человека более нравственным. – Но видимо, эта фраза показалась Пушкину слишком пафосной, и он тут же добавил: – Законная супруга – это род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит.

– На морозе такая шапка ох как нужна! – подхватил я.

– Да, я хотел бы вести жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался.

– Никогда? Но в детстве, в доме родителей ваших?

– Ах, нет! – нахмурился Пушкин, – Мать моя изменилась лишь последние годы. Тогда же она мало интересовалась нами… Но Натали другая! Я верю, что она иная. Одно желание мое – чтобы ничего в жизни моей не изменилось: лучшего не дождусь! – произнес он очень искренно, от всего сердца.

И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят…

И тут я задал вопрос, оказавшийся совершенно лишним и ненужным: я поинтересовался, что нового написал наш автор. Пушкин вдруг скривился!

– Ох, как же я этого не люблю! Зачем вы об этом спросили?

– Помилуйте… – растерялся я, – исключительно из самого подлинного, искреннего интереса к вашему творчеству.

– Лукавите! – сощурился Пушкин. – Вы пытались мне польстить, признайтесь?

– Не скрою… – смутился я, – и такое намерение у меня было,

– Крайне неудачное! – прервал меня Пушкин. – Подобные приветствия, вопросы до такой степени бесят меня, что поминутно принужден бываешь удерживаться от какой-нибудь грубости и твердить себе, что эти добрые люди не имели, вероятно, намерения вывести тебя из терпения…

– Ни малейшего! – заверил его я. – Просто мы, простые люди, почитаем стихотворцев за высших существ.

– Почему-то считается, что стихотворцы обладают некими преимуществами над остальным людским родом… – с горечью проговорил Пушкин. – Хотя, признаться, кроме права ставить винительный вместо родительного падежа после частицы «не» и кой-каких еще так называемых стихотворческих вольностей мы никаких особенных преимуществ за стихотворцами не ведаем… Напротив, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям.

Не говорю о гражданском ничтожестве и бедности, вошедшей в пословицу, о зависти и клевете братьи, коих они делаются жертвами, если они в славе, о презрении и насмешках, со всех сторон падающих на них, если произведения их не нравятся, – но что может сравниться с несчастием выслушивать суждения глупцов о своих творениях? – Пушкин явно разгорячился. – Однако же и сие горе, как оно ни велико, не есть еще крайнее! Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание, прозвище, коим он заклеймен и которое никогда его не покидает. Публика смотрит на него как на свою собственность, считает себя вправе требовать от него отчета в малейшем шаге. По ее мнению, он рожден для ее удовольствия и дышит для того только, чтоб подбирать рифмы.

– Уж как-то вы больно мрачно на жизнь смотрите, – остановил его я. – Почему бы не воспринять это с удовольствием, как доказательство славы и признания?

– Ах, если бы вы знали, как это утомляет! Требуют ли обстоятельства присутствия твоего в деревне, при возвращении первый встречный спрашивает: не привезли ли вы нам чего-нибудь нового? Явлюсь ли я в армию, чтоб взглянуть на друзей и родственников, публика требует непременно поэмы на последнюю победу, и газетчики сердятся, почему я долго заставляю себя ждать. Задумаюсь ли о расстроенных своих делах, о предположении семейственном, о болезни милого человека, тотчас уже пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, изволите сочинять!

– Но вы большой любитель женщин, – напомнил я, – а ведь прекрасные барышни большие охотницы до стихов. Поэту куда легче завоевать красавицу, нежели просто смертному…

– Это точно так! – усмехнулся Пушкин. – Стоит мне влюбиться, так красавица нарочно покупает себе альбом и ждет уже элегии. Приедешь ли к соседу поговорить о деле или просто для развлечения от трудов, сосед кличет своего сынка и заставляет мальчишку читать стихи, и мальчишка этот самым жалостным голосом угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще называется торжеством. Каковы же должны быть невзгоды? Не знаю, но последние легче, кажется, переносить.

Я не знал, чем его утешить.

– Если бы вы знали, Иван Тимофеевич, как надоел мне неизбежный вопрос: скоро ли вы нас подарите новым произведением пера вашего? – признался Пушкин. – Долго дожидалась бы почтеннейшая публика таких подарков, если б книгопродавцы не платили мне довольно дорого за мои стихи. Имея поминутно нужду в деньгах, печатаю я свои сочинения и имею удовольствие потом подслушивать, что говорят о них холопья. – В глазах его и в голосе сквозила тоска.

– Тогда, наверное, вам приятней общество поэтов, подобных вам, – предположил я.

Усмешка Пушкина стала еще более горькой.

– Напротив. Я не люблю общества своей братии литераторов, кроме весьма, весьма немногих. Дельвига любил, но он уж в гробу… – Он сразу погрустнел. – Это первая смерть, мною оплаканная. Он не был оценен при раннем появлении на кратком своем поприще, он не оценен еще и теперь, когда покоится в свой безвременной могиле… Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Остались Плетнев, Баратынский… Вот и все! А остальные… – Он досадливо махнул рукой. – У одних слишком много притязаний на колкость ума, у других на пылкость воображения, у третьих на чувствительность, у четвертых на меланхолию, на разочарованность, на глубокомыслие, на филантропию, на мизантропию, иронию и проч. и проч. Иные кажутся скучными по своей глупости, другие несносными по своему тону, третьи гадкими по своей подлости, четвертые опасными по своему двойному ремеслу, вообще слишком самолюбивыми и занятыми исключительно собою да своими сочинениями. Я предпочитаю им общество женщин и светских людей, которые, видя меня ежедневно, переставали чиниться и избавили меня от разговоров о литературе и от известного вопроса: «Не написали ли чего-нибудь новенького?»

– Ах, простите великодушно! – воскликнул я. – Никогда впредь не стану задавать вам этого злосчастного вопроса.

* * *

Вскоре пришлось услышать мне анекдот, подтвердивший нелюбовь Александра Сергеевича к показным восторгам и заказным стихам. Рассказала мне его уже пожилая вдова, от которой, признаться я, право, не ожидал интереса к подобным сплетням.

– Во время пребывания Пушкина в Одессе жила одна вдова генерала, который начал службу с низких чинов, дослужился до важного места, хотя ничем особенно не отличился. Этот генерал в 1812 году был ранен в переносицу, причем пуля раздробила ее и вышла в щеку, – говорила она с явным сочувствием. – Вдова этого генерала, желая почтить память мужа, заказала на его могилу богатейший памятник и непременно желала, чтобы на нем были стихи. К кому же было обратиться, как не к Пушкину? Она же его знала. Александр Сергеевич пообещал, но не торопился с исполнением.

Так проходило время, а Пушкин и не думал исполнять обещание, хотя вдова при каждой встрече не давала ему покоя. – Рассказчица возмущенно всплеснула руками. – Но вот настал день ангела генеральши. Приехал к ней и Пушкин. Хозяйка, что называется, пристала с ножом к горлу. «Нет уж, Александр Сергеевич, теперь ни за что не отделаетесь обещаниями, – говорила она, крепко ухватив поэта за руку, – не выпущу, пока не напишете. Я все приготовила, и бумагу, и чернила: садитесь к столику и напишите».

Пушкин видит, что попал в капкан. «Удружу же ей, распотешу ее», – подумал поэт и сел писать. Стихи были мигом готовы, и вот именно какие:

Никто не знает, где он рос,
Но в службу поступил капралом;
Французским чем-то ранен в нос
И умер генералом!

– Что было с ее превосходительством после того, как она сгоряча прочла стихи вслух, не знаю, – рассказывала мне старушка. – А любимый поэт ваш, передав их, счел за благо проскользнуть незамеченным к двери и уехать подобру-поздорову. Нет нынче у молодежи уважения к сединам! – возмущенно заключила рассказчица.

Ну, учитывая ее преклонные лета, поэт вполне мог казаться ей молодым.

* * *

Роды Натальи Николаевны прошли хоть и тяжело, но благополучно. Родила она крепкого, здорового младенца, девочку, впоследствии нареченную Марией. Однако Пушкин был в ужасе: мучительные крики и страдания жены его перепугали и расстроили до слез. Впоследствии он ни разу не присутствовал при родах жены, специально уезжая на это время из дома. Наталья Николаевна никогда его за это не бранила.

Она вторично забеременела менее года спустя и разрешилась мальчиком, названным в честь отца.

– Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибешь, – говорил о нем Александр Сергеевич.

С этим сыном вышла неприятная история: Наталья Николаевна уличила кормилицу в пьянстве. Она встревожилась сильно, а Александр Сергеевич воспринял новость спокойно: – Не беда! Мальчик привыкнет к вину и будет молодец, во Льва Сергеевича.

Третьим был сын Григорий. Имя было дано в честь предка поэта, боярина Григория Пушки, бывшего в XV веке псковским воеводой. Наталья Николаевна родила его благополучно, но мучилась долее обыкновенного. Александр Сергеевич тревожился очень, и мне пришлось убеждать его, что опасности нет никакой.

Упоминание о детях всегда вызывало у Натальи Николаевны радостное оживление, и она могла подолгу обсуждать со мной их здоровье и забавные проделки. Сам же Пушкин совмещал в отношении к детям нежность и известную строгость: двухлетнего Сашу он за какую-то проказу высек, Машу порой шлепал… Наталья Николаевна расстраивалась, но не осмеливалась перечить супругу.

Без сомнения, Наталья Николаевна любила мужа, но я сомневаюсь, что она его понимала, хотя приходилось ей участвовать в делах его. Помню, как сидела она у туалетного столика и перебирала кружева и какие-то блестящие вещицы, пока девка укладывала ей косы, и, пробегая глазами мужнино письмо, спрашивала:

– Ах, я написала ему о статье «Гольцовской»… Оказалось неправильно. Вот Пушкин и спрашивает: о кольцовской или гоголевской? Велит Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть. Но откуда же мне помнить, чья статья? Как мне передали, так я и написала…

Она недоуменно пожимала покатыми безупречными плечами, обращая ко мне прекрасный взгляд своих чуть косящих глаз.

В другой раз просил он передать ему, отлучившемуся в деревню по делам, что-то из книг. Помнится, это были Essays de M. Montaigne, и Наталья Николаевна беспомощно бродила по кабинету мужа с письмом в руке, отыскивая на полках «четыре книги на длинных моих полках». Я взял на себя смелость помочь ей, и нужные тома были найдены. Она с удовольствием рассказывала мне о балах, которые посещала даже в отсутствие мужа:

– Третьего дня был бал у… – И она назвала известную фамилию. – Народу было пропасть. Танцевали до пяти часов.

Восхищение звучало в ее голосе, когда она описывала наряд одной дамы: белое креповое платьице, даже без гирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов.

– Бал очень удался. Мужчины были недовольны ужином, но ведь они вечно должны чем-нибудь да недовольны, – продолжала Наталья Николаевна. – Мне было очень весело, и я танцевала котильон с одним молодым офицером, которым умеет быть приятным.

* * *

Надежда Осиповна угасала медленно и, как я и ожидал, протянула еще почти целых пять лет после женитьбы сына. В последний год жизни болезнь Надежды Осиповны показала себя во всей мощи. Дорожа оставшимися днями, она старалась сблизиться с сыном, искупая холодность, с которой относилась к нему в детстве. Поддерживала она дружбу и со своей прекрасной невесткой, пересказывая молодой женщине «Клариссу» Ричардсона, за что Наталья Николаевна была ей весьма признательна.

– Теперь я имею понятие об этом романе! – радовалась она. – Прочитать его не надеюсь – с моим нетерпением; я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы.

Часто я видел, как Наталья Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях. Пушкин обычно стоял за ее креслом. Однажды он сказал шутя и, видимо, наскучив рассказами о балах:

– Это последние штуки Натальи Николаевны: посылаю ее в деревню.

Но планы его не осуществились потому, что в ту же зиму Надежде Осиповне сделалось хуже.

В доме пожилых Пушкиных часто я встречал родную сестру поэта, Ольгу Сергеевну Павлищеву. Она находилась при умирающей матери неотлучно, Александр Сергеевич появлялся часто, но ненадолго, как и все остальные. Порой он заглядывал к матери перед тем, как везти жену на бал. Помню, незадолго до смерти Надежды Осиповны, когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью, и Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражал ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил.

Наталья Николаевна была в папильотках: это было перед балом.

После их ухода я заметил, что Александр Сергеевич кажется добрым мужем. Надежда Осиповна согласилась, вздохнув о жестоком обычае века: непременно, во что бы то ни стало казаться хуже, чем ты есть на самом деле.

– А ведь на самом деле Сашенька добрый мальчик, – со слабой улыбкой произнесла она.

Вскоре ей стало совсем плохо. Она лежала в полном сознании, улыбалась даже, но, по признанию бедной Ольги Сергеевны, выглядела уже мертвой. Все понимали, что надежды больше нет, и я не мог уже ничего изменить. Сергей Львович, заходя в комнату супруги, не мог сдержать слез. Он заходился рыданиями, и это пугало больную и ее дочь.

Умерла Надежда Осиповна точнехонько на Пасху. От расстройства Сергей Львович слег, а Александр Сергеевич, задержавшись на неделю из-за хлопот по делам похоронным, увез тело матери для похорон в Святогорский монастырь. С ним был лишь один его старый слуга. 11 апреля он был уже в любимых своих псковских местах, а два дня спустя состоялось само погребение. Потом я узнал, что, оплатив все расходы, связанные с похоронами матери. Пушкин заранее позаботился и о месте собственного вечного успокоения – внес соответствующий заклад в монастырскую кассу.

Он горько жаловался на судьбу, давшую ему лишь такое короткое время пользоваться нежностью материнской, которой до того не знал. Наталья Николаевна, беременная четвертым ребенком, осталась в Петербурге.

Пробыл Пушкин в Михайловском недолго. Он вернулся в весьма угнетенном состоянии духа и поневоле затеял бесконечные переговоры с мужем своей сестры о разделе

имущества. Выпускал он тогда журнал «Современник», верным подписчиком которого сразу же стал ваш покорный слуга.

* * *

Эта глава говорит о прогрессивном отношении поэта к религии, к сожалению, не понятом моим прадедом.

Что касается психического состояния Пушкина, то здесь мы можем ясно видеть растущую неудовлетворенность поэта браком с ограниченной, неумной женщиной, воспитанной в душной среде николаевской России и ценящей лишь пошлые светские развлечения. Поражает черствость, с которой Наталья Николаевна вынуждала мужа вывозить себя на балы, в то время как умирала его мать.

Глава 8

Кабинет Пушкина состоял из большой узкой комнаты. Посреди стоял огромный стол простого дерева, оставлявший с двух концов место для прохода, заваленный бумагами, письменными принадлежностями и книгами. Наряду с принадлежностями уборного столика поклонника моды тут дружно лежали Montesquieu с «Bibliotheeque de campagne» и «Журналом Петра I»; виден был также Alfieri, ежемесячники Карамзина и изъяснение слов, скрывшееся в полдюжине русских альманахов. На Пушкине был старенький дешевый халат, какими обыкновенно торгуют бухарцы в разноску. Вся стена была уставлена полками с книгами, а вокруг кабинета были расставлены простые плетеные стулья. Кабинет был просторный, светлый, чистый, но в нем ничего не было затейливого, замысловатого, роскошного, во всем безыскусственная простота, кроме самого хозяина, поражавшего каждого, кому посчастливилось видеть его оригинальное, арабского типа лицо, до невероятности подвижное и всегда оживленное выражением гениального ума и глубокого чувства.

Хозяин кабинета сидел за столом, держа в руках огрызок пера, и медленно водил им по бумаге. На руке у поэта красовалось кольцо с бирюзой – подаренный другом талисман от насильственной смерти, как я знал.

– Я не люблю писать писем, – пожаловался он мне. – Даже язык и голос едва ли достаточны для наших мыслей – а перо так глупо, так медленно – письмо не может заменить разговора. О чем же вы хотели поговорить со мной, Иван Тимофеевич?

Несколько смущаясь, я признался, что желал бы поговорить об оплате своих услуг. Пушкин поинтересовался суммой, заглянул в бумаги и расстроился.

– Вы застали меня врасплох, без гроша денег, – признался он. – Виноват – сейчас еду по моим должникам сбирать недоимки и, коли удастся, явлюся к вам.

– Право, так спешить не стоит, – успокоил его я, сам расстроившись, что напомнил о долге не вовремя. – Я вполне могу обождать.

– Вы милый человек. Иван Тимофеевич, – вздохнул Пушкин. – Но долги однако же надо платить. Так что к вечеру меня ждите. Вижу, вижу, что мне непременно нужно иметь 80 000 тысяч доходу! – воскликнул он. – И непременно буду их иметь! Недаром же пустился в журнальную спекуляцию – а ведь это все равно, что золотарство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова: очищать русскую литературу, то есть чистить нужники и зависеть от полиции.

– Помилуйте, Александр Сергеевич! – прервал его я. – Ваш «Современник» – преинтереснейшее чтение! Неужто вам так скучно и неприятно этим журналом заниматься?

Пушкин невесело улыбнулся, кусая губы.

– Душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист, – признался он.

– Так зачем же затевали? – спросил я.

– А хотелось мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы, – с яростным выражением произнес Пушкин. Глаза его вспыхнули голубым пламенем. – Сказать единожды вслух, что Ламартин скучнее Юнга и не имеет его глубины, что Беранже не поэт, что Виктор Гюго не имеет жизни или, если хотите, истины; что романы Альфреда Виньи хуже романов Загоскина; что их журналы невежды; что их критики почти не лучше наших… К тому же еще дело важное, ибо монополия Греча и Булгарина пала. Я хотел уничтожить монополию, и успел. – Голубые глаза потухли. – Остальное мало меня интересует.

– Но что же есть это «остальное»? – подивился я. – Как может не волновать, что вы печатаете? Каких авторов?

– О нет, это важно! Без сомнения, важно! – согласился Пушкин. – Но разве плохи мои авторы?

– Вовсе не плохи, – честно ответил я. – Вяземский, Языков, Тютчев, Одоевский… Ах, забыл еще Жуковского…

– Баратынского, – напомнил Пушкин.

– И Давыдов… Славный Денис Давыдов! – припомнил я. – Эти имена любому издателю сделают честь.

– А новые как вам? – с интересом спросил Пушкин. – Гоголь, Кольцов?

– Читал с большим удовольствием. Только скажите мне честно, публиковали вы якобы отрывок из записок некой кавалерист-девицы? Это ведь вы сами написали? Сами все придумали?

– Не угадали! – рассмеялся Пушкин. – Кавалерист-девица – вполне живой и настоящий человек. Дама в мужском обличье… Или наоборот.

– Но как же это может быть? – изумился я. – Чтоб женщина… Да и по стилю уж очень похоже на вас.

– Я бы подумал дважды, прежде чем назвать сию девицу женщиной, – усмехнулся Пушкин. – Более она кавалерист, нежели mademoiselle. И писать поначалу не очень умела, пришлось мне ее учить – отсюда и сходство стиля. Но рассказать ей есть о чем!

– А отчего же вы стихов своих не печатаете в «Современнике»? – спросил я.

– А потом что и Христос запретил метать бисер перед публикой! – раздраженно ответствовал Пушкин. – На то есть проза – мякина.

Говоря о журнале, он оживился на краткое время, но потом снова стал задумчивым. Мне стало понятно, что что-то гнетет его, какая-то мысль мучает. Я напрямик спросил об этом.

Пушкин ответил мне вопросом:

– Вы верите в сны?

– Не могу не верить, – признался я. – Жития святых показывают нам немало случаев, когда сны оказывались вещими. Вера признает сон посредником между реальной жизнью и миром иным. Посредством сна возможно проникновение в глубины человеческой души.

– Я не свят, напротив, грешен, – ответил Пушкин. – Но и мне несколько раз снились вещие сны. Недавно приснилось, что дочка княгини Вяземской умерла. Княгиня уехала в чужие края, дочь ее больна не на шутку: боятся чахотки. Молились Богу, чтоб юг ей помог. А давеча видел во сне, что она умерла, и проснулся в ужасе.

– И что же? – спросил я. – Это ведь сон, не более…

– Сбылось… – вздохнул печально Пушкин. – Назад едет уже княгиня, схоронивши дочь.

– Печально, – кивнул я. – очень печально.

Он продолжал вспоминать.

– Вигель рассказал мне любопытный анекдот. Филипп Филиппович мой знакомый хороший. Я люблю его разговор – он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложестве. Ах, ну простим ему эту его слабость!

– Содом-Кишинев! – вспомнил я со смущением.

Пушкин кивнул мне с улыбкой, потом снова стал серьезным.

– Так вот этот анекдот: сын кормилицы Екатерины II, умершей 96 лет, некогда рассказал Вигелю следующее. Мать его жила в белорусской деревне, пожалованной ей государыней. Однажды сказала она своему сыну: «Запиши сегодняшнее число: я видела странный сон. Мне снилось, будто я держу на коленях маленькую мою Екатерину в белом платьице – как помню ее 60 лет тому назад». Сын исполнил ее приказание. Несколько времени спустя дошло до него известие о смерти Екатерины. Он бросился к своей записи, – на ней стояло 6 ноября 1796 года. Старая мать его, узнав о кончине государыни, не оказала никакого знака горести, но замолчала – и уже не сказала ни слова до самой своей смерти, случившейся пять лет после.

– Но то анекдот, – напомнил я. – Возможно, выдумка.

– Но и мне еще снилось! – возразил Пушкин. – Так в декабре двадцать пятого, вы ведь понимаете, о чем я, мне приснилось, что у меня выпали все зубы. Выпавший зуб, говорят, к покойнику.

– Казненные были вашими друзьями, – произнес я.

Пушкин кивнул:

– А после раз я видел Кюхлю во сне.

– Простите, вы разумеете Вильгельма Кюхельбекера, – припомнил я объяснения Франца Пешеля.

– Да, это лицейское прозвище несчастного заговорщика и бунтовщика, – печально кивнул Пушкин. – Мы еще тогда почитали его за сумасшедшего, о чем я говорил его императорскому величеству. Но Кюхлю осудили наравне с людьми вполне здравомыслящими и циничными. Но я рассказывал вам о своем сне! Кюхля приснился мне, а на следующий день в Боровичах я в очередной раз проигрался по-глупому. Пришел расплатиться с одним карточным долгом, и при расплате недостало мне пяти рублей, я поставил их на карту и, карта за картой, проиграл более полутора тысяч. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы двести рублей и уехал, очень недоволен сам собою. На следующей станции нашел я Шиллерова «Духовидца», но едва успел прочитать я первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем. Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели. Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга – и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством – я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга.

– Но куда же? Куда их везли? – спросил я.

– Не знаю… – Он казался очень грустен. – И я бы мог как шут… – пробормотал он задумчиво, потом словно очнулся. – Все друзья мои состояли в заговоре, я не мог бы не участвовать, и лишь отсутствие спасло меня. Я был в деревне и выехал уже в столицу, но заяц дважды перебежал мне дорогу. Не смейтесь! – Он просительно взглянул на меня. – Я верю в приметы, в карточные гадание, в сны… Глупо, наверное.

– Счастливый заяц! – с мягкой улыбкой сказал я. – Дай Бог ему и его потомству избегнуть охотничьих силков. Я не берусь судить помыслы и чаяния тех несчастных, что ныне либо мертвы, либо влачат жалкое существование в заточении в ссылке, но судите сами: бунтовщики намеревались убить государя и его семейство. Ввели в грех доверившихся им солдат. Генерал-губернатор Петербурга, герой войны, пал от злодейской пули… Но эта кровь не на вас!

Пушкин грустно улыбнуться в ответ.

– Я знал графа Милорадовича. Он часто ходатайствовал перед Александром I за множество лиц из числа просителей, достойных, по его мнению, высочайшего снисхождения. Было мне около двадцати лет, когда полицмейстер доставил меня к графу… – он на секунду замялся, – для беседы. Желая разобрать, которые из ходивших тогда в списках вольнодумных стихов мои, я тотчас взял да и записал все свое в тетрадь. Выходка моя, признаться дерзкая, пришлась генералу по нраву. Говорят, он хоть и передал ту тетрадь государю, но просил за меня… Его гибель меня сильно печалит. Да вы и правы: смертоубийство мне не по нраву. Класс писателей более склонен к умозрению, нежели к деятельности. В молодости кровь моя горела, а теперь я давно уже желаю вполне и искренно помириться с правительством. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны. Но тогда, десять лет назад, гонимый шесть лет кряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам. Но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив.

– Я хорошо помню ваши строки о гении и злодействе, – сказал я. – Я никогда не думал, что вы могли бы одобрить отнятие человеческой жизни.

– Не забывайте про мои дуэли! – возразил Пушкин, и глаза его сверкнули. Потом он сник. – Ах, некогда в Крыму моим коньком был вечный мир аббата Сен-Пьера. Я был убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный всеобщий мир и что тогда не будет проливаться никакой крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями и с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Что думаете, будет так когда-нибудь?

– Вечный мир я почту за благо, – признался я. – Но я не думаю, что грех человекоубийства искореним.

– А грех самоубийства? Как вы к нему относитесь?

Я не сразу нашелся с ответом.

– Как врач я знаю, что могут быть невыносимые страдания, от коих спасение ищет человек в смерти, – проговорил я, – но как христианин я не могу оправдать эту слабость, хоть и сожалею о несчастных. Но неужели вы?…

Ах нет! – Пушкин махнул рукой. – Я вспоминал сейчас об одном своем друге, почившем несколько лет назад. Он умер гнилой горячкой, протекавшей очень быстро. Злые языки обвинили его в самоубийстве (к тому были поводы: его стихи о французской революции вызвали гнев начальства). Но я ни на минуту не поверил сам этому! – Взгляд его заблестел. – Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала.

– Но почему вы о нем вспомнили? – спросил я. – Смерть его случилась лет пять назад, если не ошибаюсь.

– Зовет меня мой Дельвиг милый… – проговорил Пушкин. Кажется, это были стихи. – Ах, я и сам не знаю, почему вспомнил! Что-то пришло в голову… Пустое! – Он махнул рукой, словно отбрасывая неприятную мысль, – Мы с вами говорили об убийцах, не так ли? А мне приходилось знать нескольких убийц, – вдруг заметил он, как это уже бывало, переключаясь с одного предмета разговора на другой. – Самым интересным из них был слуга, прислуживавший мне еще в Царском Селе. Этот человек безнаказанно совершил восемь убийств, девятое было раскрыто, и он сделал такое признание: он нанял сани для поездки, которая обошлась бы ему в 50 копеек. Во время езды он стал соображать, что если убьет извозчика, то, конечно, сбережет себе плату за проезд и, быть может, найдет сколько-нибудь денег в его кармане. Ради этого он очень спокойно вынул нож, ударил им извозчика в спину и затем перерезал ему горло. Ограбив несчастного, он нашел только 24 копейки. – Пушкин растянул губы в улыбку, но в выражении его лица не было ничего напоминающего веселье – Вот вам и цена человеческой жизни…

– Ни за что… – вздохнул я. – За копейки… Нормальны ли эти люди, Александр Сергеевич? Может, их надо не в каторгу, а в желтый дом, на цепь?

– Не велика разница! – с особой горячностью проговорил он. – Безумие хуже смерти: вместо воли – цепь и решетка, вместо пения птиц и приятных бесед – крик таких же сумасшедших да брань смотрителей.

Пушкин встал со своего места и достал с книжной полки том в темно-синей обложке. К моего удивлению, это оказался труд Fragments psychologiques sur la Folie par Francois Leuret, Docteur en Medecine.

– Вы читали наверняка? – почти утвердительно сказал он.

– Читал, несомненно. – подтвердил я.

– И как вы находите?

– Чрезвычайно хорошо и умно!

– А что вы думаете о его «моральном методе».

Я был до крайности удивлен, что подобная узкоспециальная тема заинтересовала поэта. Я принялся рассказывать, что и в России не везде больных сажают на цепь. Говорил я долго и, наверное, скучно для человека от медицины далекого, описывая труды своих коллег Кибальчича, Герцога, Бутковского, Завадского, применявших в терапии душевных болезней

разумную диету, чередование отдыха и физического труда, молитву… К моему удивлению, Пушкин слушал меня очень внимательно, и в глазах его не было скуки.

– Но я удивлен, что вас эта тема заинтересовала… – оборвал я сам себя.

– А Наталья Николаевна вам не рассказывала никогда о своем отце? – спросил Александр Сергеевич. – Он болен давно. Безумен. А мать пьет… порой с лакеями, чтоб не в одиночку.

– Она вам родня не по крови.

– Среди моих предков тоже были безумцы. Я часто хвалюсь своим шестисотлетним дворянством… Ведем мы род свой от мужа честна Радши… или Рачи, нанявшегося на службу к Александру Невскому. От него пошло много дворянских родов. Имя предков моих повсеместно встречается на страницах отечественной истории. Они уцелели среди малого числа знатных родов от кровавых опал царя Ивана Васильевича Грозного, выжили в эпоху самозванцев. А вот после стольник Федор Матвевич уличен был в заговоре противу государя Петра и казнен вместе с Цыклером и Соковниным.

Дальше было хуже: прадед мой умер весьма молод, в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах.

– Но было ли это сумасшествием? – уточнил я. – Нравы тогда были жестокие, и убийство супруги не может быть названо обычным делом. Но у предка вашего мог быть настоящий к тому повод.

– Вряд ли, – усомнился Пушкин. – Обвинял он свою жену, как водится, в измене и в попытках его отравить. Но бедная женщина не думаю, что была виновна. В потомстве эта его черта сказалась: дед мой был человек такой же пылкий и жестокий. Первая жена его умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с бывшим учителем его сыновей, которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась – чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постелю всю разряженную и в бриллиантах. Все это знаю я довольно темно. Отец мой никогда не говорит о странностях деда, а старые слуги давно перемерли. Нескучный народ, не правда ли?

Я подтвердил.

– Но прямого безумия тут нет. Только что прадед… А расскажите мне про предков матери вашей. Ведь она приходилась внучкой знаменитому Ганнибалу…

– В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, немка, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола. Под старость он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами.

– Сия осторожность, возможно чрезмерная, не является еще безумием! – заметил я.

– Брак деда моего Осипа Абрамовича тоже был несчастлив. – продолжил Пушкин. – Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой. Бабушка принуждена была подать просьбу на имя императрицы, которая с живостию вмешалась в это дело. Новый брак деда моего объявлен был незаконным, бабушке моей возвращена трехлетняя ее дочь, а дедушка послан на службу в черноморский флот. Тридцать лет они жили розно. Смерть соединила их. Они покоятся друг подле друга в Святогорском монастыре.

– Почти такую же историю рассказывала мне ваша покойная матушка о вашем дяде Василии Львовиче.

– Вот видите, как сильна кровь! – грустно улыбнулся он. – У сестры я наблюдал начало помешательства… Да и маменька покойна всегда считала меня странным ребенком. Наверное, она вам многое рассказывала, – произнес он скорее с утвердительной, нежели с вопросительной интонацией. – А папенька ей охотно вторил. Он плакался вам, что я хотел его убить?

– Помилуйте, как можно! – опешил я. А потом вспомнил странную сцену, которой был свидетелем. – Впрочем, как-то раз я застал Сергея Львовича в крайне возбужденном состоянии, но о смертоубийстве он ничего не говорил. Скорее выражение его было «убил словом», я понял, что вы повздорили, и только.

– О да, все было совершенно невинно, – со странной улыбкой подтвердил Пушкин. – Не дай мне Бог сойти с ума… наверное, это страшнее смерти. Лет пять назад я навестил Батюшкова. Мы были дружны когда-то. «Философ резвый и пиит», – звал я его, дразнил счастливым ленивцем. А теперь он лежит почти неподвижный. Дикие взгляды. Взмахнет иногда рукой, мнет воск. Боже мой! Где ум и чувство! Одно тело чуть живое. – Голубые глаза поэта выразили ужас. – Самая страшная смерть лучше, чем это.

– Помилуйте, Александр Сергеевич, – забеспокоился я, – вы толкуете мне об осьмнадцатом столетии, о больных друзьях… Что заставляет вас думать о грозящем именно вам безумии?

Мне показалось, что он собирается ответить серьезно… Но видимо, передумав, Александр Сергеевич рассмеялся.

– Друзья твердят, что я стал подозрителен и желчен. А один так и прямо назвал меня ненормальным.

– Из-за чего же?

Пушкин не ответил. Он поднялся со своего места и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке.

– Правду говорят: коли хочешь быть умен, учись, а коль хочешь быть в аду, женись. Я ревную Натали, – вдруг как-то по-детски откровенно признался он. – Она так прекрасна, а я – урод. Я даже стыжусь стоять рядом с ней: она высока, стройна, а я – карлик…

– Помилуйте, – изумился я, – какая чепуха! Да разве за красоту жены любят мужей? Наталья Николаевна честнейшая из женщин и предана вам всей душой!

– Да, я знаю, ревность моя глупа и нелепа, – согласился он. – Но я чувствую себя самым несчастным существом – существом близким к сумасшествию, когда вижу ее разговаривающей и танцующей на балах с красивыми молодыми людьми. Уже одно прикосновение чужих мужских рук к ее руке причиняет мне приливы крови к голове.

– Тогда я прикажу поставить вам пиявки, – улыбнулся я.

– Ох, уж эти эскулапы! – рассмеялся Пушкин. – Вы бы и душевную тоску лечили клистирами, пиявками и кровопусканиями. А что, скажите, есть у вас взаправду лекарство от тоски?

– Александр Сергеевич, – оборвал его я, – лекарство от тоски вы сами давно нашли: «Откупори шампанского бутылку иль перечти “Женитьбу Фигаро”».

Ответ мой Пушкина развеселил. Он оживился и от задумчивости перешел к нервному, возбужденному веселью.

– А и правда, шампанское вещь дельная! Не поехать ли нам с вами к цыганам, Иван Тимофеевич? – спросил он меня.

– Вот так, сразу?.. – опешил я.

– Поехали! – оживился он. – Вы слыхали, как поет Таня?

– Да, полноте, Александр Сергеевич, поздно уже. Там уж спать небось легла ваша Таня…

– Поднимется! – заверил меня он. – Ей не впервой.

Он вскочил и вдруг с места перепрыгнул через стол, опрокинув свечи. Выходка эта меня изумила и испугала, но Пушкин на мой испуг не обратил никакого внимания и, казалось, был очень доволен собой. Я принялся отнекиваться, напоминая, что это повлечет непредвиденные расходы, а профессорское жалованье…

– Чепуха! Я вас приглашаю, и я за все плачу! – заверил меня Пушкин. – Я ведь богаче многих князей: им приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный – с тридцати шести букв русской азбуки.

Я продолжал отказываться, зная его долги и достаточно стесненные обстоятельства, но настоять на своем у меня не было никакой возможности. И уж спустя всего лишь четверть часа мы катили по ночной столице к дому, где квартировал цыганский хор.

– В Бессарабии я провел несколько дней в цыганском таборе, – рассказывал Пушкин. – Удивительный народ!

И потом, чтобы развеселить меня, Александр Сергеевич рассказал мне еще один анекдот из своей замечательной родословной. Историю эту слышал он от бабушки Марьи Алексеевны, происходившей по матери из рода Ржевских.

– Она дорожила этим родством и часто любила вспоминать былые времена, – говорил Пушкин. – Так, передала она историю о дедушке своем, любимце Петра Великого. Монарх часто бывал у Ржевского запросто и однажды заехал к нему поужинать. Подали на стол любимый царя блинчатый пирог, но он как-то не захотел его откушать, и пирог убрали со стола. На другой день Ржевский велел подать этот пирог себе, и какой был ужас его, когда вместо изюма в пироге оказались тараканы – насекомые, к которым Петр Великий чувствовал неизъяснимое отвращение. Недруги Ржевского хотели сыграть с ним эту шутку, подкупив повара в надежде, что любимец царский дорого за нее поплатится.

Мы оба весело смеялись над этим давнишним происшествием, представляя, как силен мог быть гнев Петра Великого, кабы все не разрешилось так счастливо. Пушкин принялся за другой анекдот.

– Однажды маленький арап, то есть мой прямой предок по матери, сопровождавший Петра I в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге: «Государь! Государь, из меня кишка лезет». Петр подошел к нему и, увидя в чем дело, сказал: «Врешь: это не кишка, а глиста», – и выдернул глисту своими пальцами.

Мы снова посмеялись.

– Анекдот довольно нечист, но рисует обычаи Петра, – полуизвинился Пушкин.

В ответ я тоже рассказал анекдот о нашем великом государе, приведя шутку знаменитого шута Балакирева о Петербурге: «С одной стороны море, с другой – горе, с третьей – мох, с четвертой – ох!» Пушкин вспомнил историю, слышанную им от князя Голицына, о неком отставном мичмане, который, будучи еще ребенком, представлен был Петру I в числе дворян, присланных на службу.

– Государь открыл ему лоб, взглянул в лицо и сказал: «Ну! Этот плох. Однако записать его во флот. До мичманов авось дослужится». Старик любил рассказывать этот анекдот и всегда прибавлял: «Таков был пророк, что и в мичманы-то попал я только при отставке!»

Я тоже ответил какой-то старинной историей.

– Вы не поверите, как мне хочется написать роман, – поведал мне Пушкин, – но нет, не могу: у меня начато их три. – начну прекрасно, а там недостает терпения, не слажу.

– А о ком или о чем вы бы стали писать роман?

– Да именно что о Петре Великом! Но нет… тут не справлюсь. Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, – надо отодвинуться на два века, – но постигаю это чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься; время это исправит. Но я сделаю из этого золота что-нибудь. О, вы увидите: я еще много сделаю! Ведь даром что товарищи мои все поседели, да оплешивели, а я только что перебесился; вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил, как жить бы

должно; бурный небосклон позади меня, как оглянусь я… Я стою вплоть перед изваянием исполинским, которого не могу обнять глазом, – могу ли я списывать его? Что я вижу? Оно только застит мне исполинским ростом своим, и я вижу ясно только те две-три пядени, которые у меня под глазами. Однако начал я роман «Ибрагим» о моем прадеде… посмотрим, выйдет ли.

В таких мечтаниях показалось мне, что доехали мы уж очень быстро. Я был рад, что Александр Сергеевич перестал хандрить, но в то же время частая смена его настроений казалась мне нездоровою.

Как я и ожидал, певицы все уж легли спать. Встретила нас одна из них – молодая в красном платье, с расплетенной косой и головой, повязанной белым платком.

– Поваренок! Поваренок! – стал дразнить ее Пушкин.

Цыганка не обиделась, а крикнула что-то товаркам на своем, и они расхохотались. Пушкин все допытывался, что она сказала, но девица не отвечала, отнекивалась. Впрочем вскоре это было забыто. Александр Сергеевич приказал послать за шампанским, черноокая красавица запела. Голос у нее был сильный, но пела она вполголоса из-за позднего часа. «Друг милый, друг милый, с далека поспеши…», – выводила она горестно и отчаянно.

– Прелесть бесценная! – шептал Пушкин.

Мы пили шампанское, закусывая блинами, принесенными из ближайшей харчевни. Цыганка пела еще и еще, среди ее песен была и «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь», а Александр Сергеевич ей с удовольствием вторил:

– … Не прокладывай следов, / Не прокладывай следов мимо моего двора! / Как у моего двора приукатана гора, / Приукатана-углажена, водою улита, / И водою улита, чеботами убита….

Голос у него был неплохой, хотя и не очень сильный, а слух – отменный! Потом мы пили за здоровье государя Николая Павловича.

– После коронации меня привезли в Москву чуть ли не под арестом, совершенно больного, – рассказывал Пушкин. – «Что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге? – спросил меня император. «Был бы в рядах мятежников», – отвечал я не запинаясь.

Цыганки ахнули, одна из них перекрестилась.

– Ох, сильно бранил он вас? – сочувственно спросила одна из них.

– Я ожидал гнева, но вместо надменного деспота, крутодержавного тирана, – ответил Пушкин, – я увидел человека прекрасного, благородного лицом. Вместо грубых и язвительных слов угрозы и обиды, я услышал снисходительный упрек, выраженный участливо и благосклонно. Потом он расспрашивал меня, переменился ли мой образ мыслей и дам ли я ему слово думать и действовать впредь иначе, если он пустит меня на волю.

– И что же вы ответили?

– Я долго колебался, – признался Пушкин. – Но потом протянул ему руку с обещанием сделаться иным. Я его просто полюбил! – восклицал Пушкин, рассказывая еще какие-то подробности о своей личной встрече с российским императором. – Он назвал меня умнейшим человеком России! – хвалился поэт.

Все за него радовались, говорили что-то приятное… Цыганка Таня снова пела, вторила ей подруга ее Ольга… Александр Сергеевич казался веселым и беззаботным. Но веселье наше вдруг кончилось разом. Цыганка запела «Ах, матушка, что так в поле пыльно? / Государыня, что так пыльно? / Кони разыгралися… А чьи-то кони, чьи-то кони? / Кони Александра Сергеевича…»

И на этих словах Пушкин вдруг громко зарыдал. Цыганка пение оборвала, сконфузилась, смутилась.

– Ах, эта песня всю мне внутрь перевернула, она мне большую потерю предвещает! – закрыв лицо руками, промолвил Пушкин.

Вечер был испорчен. Масляные лакомые блины и пенистое шампанское разом потеряли свою привлекательность. Сославшись на какого-то ожидающего его кредитора,

Пушкин собрался, и мы уехали.

Половину дороги он молчал. Я заговорил первым, надеясь выпытать, что за печаль терзает его.

– Иван Тимофеевич, простите меня! – ответил Пушкин. – Я сегодня сам не свой; сержусь на всех и за все. В эти минуты надобно мне быть одному… Простите, не сердитесь…

– Что же беспокоит вас, Александр Сергеевич? Мысли о смерти?

– Нет, смерти я не боюсь, Иван Тимофеевич, – заверил меня он. – Все мы умрем. Я уж и могилку себе присмотрел – в Михайловском, сухую, песчаную, чтобы было не сыро лежать, чтобы и мертвому было хорошо… Наоборот, я стыжусь, что доселе не имею духа исполнить пророческую весть, которая разнеслась недавно обо мне, и еще не застрелился. Глупо час от часу долее вязнуть в жизненной грязи. Вы слышали? Кто-то распускает слухи, что я застрелился.

Голубые глаза его раскрылись широко, как у ребенка. Я тут же вспомнил слова Пешеля о том, как Пушкин полоснул себя ножом по запястью.

– Тьфу! Грех какой! Негоже… Чего это вы удумали? – забормотал я.

– Да не стану, не стану… – примирительно заверил меня Пушкин. – Да вы никак всерьез приняли? Иван Тимофеевич, помилуйте! – Он рассмеялся, но как-то неестественно. – Вот вы любите слушать про мои любовные похождения – так получайте! Знаете, в молодости был я влюблен в одну даму, старше себя лет на двадцать… – принялся вспоминать он. – Совсем юной девушкой она по капризу императора Павла была выдана замуж за богатого, но уродливого и очень неумного князя Голицына, прозванного дурачком или иными – последним русским боярином. После гибели Павла она разошлась с ним и начала жить самостоятельно. В ее доме был один из самых известных и посещаемых петербургских салонов. Устроила она жизнь свою, не очень справляясь с уставом светского благочиния. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистейшей нравственности. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия, не отемняла чистой и светлой свободы ее… В медовые месяцы вступления своего в свет я был маленько приворожен ею и писал ей стихи – если не страстные, то довольно воодушевленные. Она и впрямь в те годы была прекрасна: черные волосы, черные брови и черные глаза, зубы диковинные, рот, осанка… Отстаивая все русское, она по окончании Отечественной войны появилась на балу Благородного Собрания в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами… Правда длилась моя влюбленность недолго… Прозывали ту даму La princesse Nocturne. Знаменитая мадемуазель Ленорман предсказала ей, что она умрет ночью в своей постели, и прекрасная княгиня, дабы избежать предсказания, превратила день в ночь, а ночь – в день. Она никого не принимала в своем салоне ранее десяти часов вечера.

– А что же сейчас? Как умерла?

– Жива еще. Но годы ее красоты не пощадили, превратив в уродливую старуху. Говорят и умом она тронулась, – со злым, мрачным выражением проговорил он.

– На все воля Божья… – выдохнул я. – Сами видите, чрезмерная вера во всевозможные приметы и предсказания эту вашу красавицу до добра не довела.

Пушкин мрачно молчал.

– Полноте, Александр Сергеевич, – снова заговорил я. – Вы хоть и не молоды, но и не стары вовсе. У вас талант, слава, красавица-жена, милые дети… А вы все о могиле!

– Древние римляне в момент праздничного веселья говорили друг другу: «Memento mori», «Помни о смерти!»

– Ну их, римлян, к шуту! – возмутился я. – Христианину приличествует думать о смерти, но звать-то ее зачем? Сами вы писали: «Не пугай нас, милый друг, / Гроба близким новосельем: / Право, нам таким бездельем / Заниматься недосуг», – процитировал я поэту его же собственные строки. – К чему вы так много размышляете о смерти? – спросил. – Если здоровье ваше неладно, то могу ли я как врач…

– О нет… Я здоров. Знаете, у нас в Болдино крестьяне величают господ титлом «Ваше здоровье»? Титло завидное, без коего все прочие ничего не значат. – Он усмехнулся.

– Согласен, без здоровья ничто не в радость, – с готовностью признал я.

– Но я и умру не от болезни. – вдруг сообщил Пушкин. – Меня убьет белокурый человек или белая лошадь.

– Откуда же вы можете это знать?! – изумился я.

– А вы никогда не бывали в салоне госпожи Кирхгоф? – спросил он. – В число занятий этой старой немки входит и гадание.

Про немку-гадалку я, конечно, слышал. Представлялась она то Александрой Филипповной, то Шарлоттой Федоровной… Мастерски предсказывала по линиям на ладонях и по картам, клиентуру имела обширную. Подозреваю, что многие из моих студентов наведывались к ней перед экзаменами в надежде выведать, что за вопрос им выпадет.

– Гадает эта барыня действительно изрядно, – подтвердил Пушкин. – Свидетелей на сей предмет предостаточно имею: мы завалились к ней большой компанией. Госпожа Киргоф сразу обратилась прямо ко мне, говоря, что я человек замечательный. Рассказала вкратце мою прошедшую и настоящую жизнь, потом начала предсказания сперва ежедневных обстоятельств, а потом важных эпох моего будущего. Она сказала между прочим: «Вы сегодня будете иметь разговор о службе и получите письмо с деньгами». О службе я давно уже не говорил и не думал; письма с деньгами получать мне было неоткуда, и я ей не поверил и не обратил большого внимания на предсказания гадальщицы. Однако вечером того дня, выходя из театра до окончания представления, я встретился на разъезде с генералом Орловым, и мы разговорились. Орлов коснулся до службы и советовал мне оставить свое министерство и надеть эполеты, а возвратясь домой, я нашел у себя письмо с деньгами от своего давнего лицейского товарища Корсакова: «Милый Александр, посылаю тебе должок свой лицейский. Прости, что запамятовал…» – Глаза Пушкина возбужденно сверкали. – Мы, будучи еще учениками, играли в карты, и я его обыграл. Хотя сумма была приличной для меня, тогда игра была шуткой, поэтому я и забыл про тот выигрыш.

– Совпадение, – уверенно произнес я. – совершеннейшее совпадение.

– Но старуха Киргоф предсказала мне изгнание на юг и на север, – возразил Пушкин, – рассказала разные обстоятельства, впоследствии сбывшиеся… – Он сделал паузу, словно приступая к самому главному, – а потом поглядела немка еще раз на мои руки, – он поднес левую руку к лицу и слегка оборотил ко мне ладонь, водя по ней пальцем другой руки. Но было темно, и я все равно не мог разглядеть линий на его ладони. – Она заметила, что черты, образующие фигуру, известную в хиромантии под именем стола, обыкновенно сходящиеся к одной стороне ладони, у меня оказались совершенно друг другу параллельными. Ворожея внимательно и долго их рассматривала и наконец объявила, что владелец этой ладони умрет насильственной смертью, его убьет из-за женщины белокурый молодой мужчина.

– Так прям и белокурый?! – с недоверием фыркнул я.

– Я тоже тогда усомнился, но на мой вопрос: «Кто же мой враг»? – она быстро разложила карты и добавила, что опасаться мне нужно белой лошади, белой головы и белого человека. Даже трижды повторила: «Weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch». И с тех самых совпадений после гадания ее я прямо-таки с отвращением ногу в стремя ставлю, если лошадь – белая.

– Батюшка, и этой чепухой вы себя изводите! – воскликнул я.

– Перед самой свадьбой я вновь посетил ее салон. Кирхгоф подтвердила, что ждет меня фатальная женитьба, и на тридцать седьмом году жизни я умру насильственной смертью, и жена будет замешана в моей смерти.

– Неужели, Александр Сергеевич, это вас серьезно занимает? – произнес я уже более серьезно.

– Как сказки старой няни: сознаешь, что пустяки, а занимательно и любопытно, не верю, но хотелось бы верить… Скажу, переставновив те же слова, те же нянины сказки: верю, но хотелось бы не верить. Неужто Наталья Николаевна меня отравит? – вдруг рассмеялся

он. – Но нет, невозможно! Она – ангел!

– Невозможно! Это совершеннейше невозможно, – подтвердил я. – И гадалка эта ваша вам наврала.

– А другому из нашей компании та гадалка по линиям ладони нагадала, будто он очень скоро умрет смертью насильственной, – возразил Пушкин. – И что вы думаете? На следующее утро после встречи какой-то пьяный солдат его штыком проткнул в казармах. Тоже совпадение?

– Безусловно, – с убеждением произнес я.

– А то, что во время венчания, как мы с моей супругой обходили аналой, с него упали свеча и Евангелие… – вспомнил Пушкин. – Потом у меня в руке свеча потухла… Все дурные предзнаменования!

– Но, несмотря на все это, вы женаты и счастливы! – продолжал убеждать его я. – И ваша супруга вас обожает, она подарила вам четверых очаровательных здоровых деток! Не гневите Бога, радуйтесь тому, что имеете, оставьте эти мрачные мысли… – Но он словно меня не слушал.

– Счастлив, говорите? – Глаза его стали тоскливы. – Нет, это не счастье… Счастье другое. Когда находит на меня такая дрянь, которую принято звать вдохновением, то я запираюсь в своей комнате и пишу в постели с утра до позднего вечера, одеваюсь наскоро, чтоб пообедать в ресторации, выезжаю часа на три, возвратившись, опять ложусь в постелю и пишу до петухов. Это продолжается недели две, три, много месяц и случается единожды в год, всегда осенью. Но только тогда и знаю я истинное счастие.

– Ну так за чем же дело? Пишите! Сочиняйте!

– Нет! – воскликнул он. – Вот вы спрашивали о стихах, почему не печатаю! Так этой осенью та дрянь ко мне и не пришла… – Он чуть не плакал. – Я не пишу сейчас…

Я как-то неуклюже принялся его утешать, говорил что все пройдет, что вдохновение вернется. Повторял что-то детушках и в который раз – о красавице жене. Мало-помалу Пушкин стал вслушиваться в мои слова и слабо улыбнулся.

– Да, теперь я женат и счастлив. А ведь мог быть давно женат и на другой, – задумчиво проговорил он. – Но та особа отказала мне – именно из-за предсказания, со словами, что сие предвещание, хотя и несбыточное, все-таки заставило бы ее постоянно думать и опасаться за себя и за меня: поэтому она и отказывает мне для меня же самого. Дело разошлось. Но оно и к лучшему, Наталья Николаевна гораздо красивее.

– Тот отказ уязвил вас сильно? – спросил я.

– Пожалуй. Хотя – нет! – после минутного раздумья ответил он. – Мне и раньше давали от ворот поворот… – Он рассмеялся, но как-то не очень весело. – А предсказание сделало меня фаталистом. Я много раз стрелялся, и все с темноволосыми. И ни один не попал, все промазали! А один раз… Смешно! – Он улыбнулся, и его голубые глаза засияли в темноте коляски. – Возвращаясь из Бессарабии в Петербург, в каком-то городе я был приглашен на бал к местному губернатору. В числе гостей заметил я одного светлоглазого белокурого офицера, который так пристально и внимательно меня осматривал, что я, вспомнив пророчество, поспешил удалиться от него из залы в другую комнату, опасаясь, как бы тот не вздумал меня убить. Офицер последовал за мною, и так и проходили мы из комнаты в комнату в продолжение большей части вечера. Мне и совестно, и неловко было, и, однако, я должен сознаться, что порядочно-таки струхнул.

– Ну что же вы так, Александр Сергеевич, будете опасаться всех, у кого волос светлый? – ласково пожурил его я. – Невозможно ведь…

– Невозможно, – согласился он. – Глупо… Стыдно. Что поделать, я сын своего отца – мнителен и хандрлив… Один раз лестницу из-за своей мнительности отказался придержать.

– Какую лестницу? – опешил я.

– У княгини Волконской был в Москве на Тверской дом, главным украшением которого были многочисленные статуи. У одной из статуй отбили руку. Хозяйка была в горе. Один наш друг общий вызвался прикрепить отбитую руку, а меня попросили подержать

лестницу и свечу. Я сначала согласился, но потом смотрю на него… а он белокурый. Я поспешно бросил и лестницу и свечу и отбежал в сторону. «Нет-нет, я держать лестницу не стану, говорю. Ты – белокурый. Можешь упасть и пришибить меня на месте».

И он вдруг рассмеялся, словно приглашая и меня посмеяться над этим нелепым анекдотом. Я охотно ему вторил.

– Глупость! Глупость такая! – повторял Пушкин.

– Конечно, глупость… – заверял его я.

Проводив Александра Сергеевича домой, я хотел было тут же ехать, но не вышло. Зазвал он меня к себе, налил вина, а я возьми да и опрокинь неловким жестом рюмку на скатерть. Пушкин аж побледнел. Я принялся было извиняться, но оказалось дело не в испорченной скатерти, а в примете. Мол, если гость уходя прольет масло или вино – то встрече той быть последней. Но, как уверил меня сам Пушкин, примета сия действовала лишь до полуночи, вот и пришлось мне сидеть у него еще с полчаса, выжидать, пока минует заветное время.

* * *

Тут снова в рукописи перерыв, но совсем незначительный, словно кто-то оторвал низ листа на самокрутку, потому не совсем ясно, каким образом разговор коснулся эпидемии холеры.

… вспомнив незабвенного коллегу своего и учителя, умершего от этого поветрия Матвея Яковлевича Мудрова. Он описал холеру как весьма быстротечное, острое воспаление слизистой оболочки желудка и кишок, а потом и наружной оболочки оных; оттого происходят сильный внутренний жар, нестерпимая боль, непрестанная рвота и понос.

– А вот холеры я не боялся! – принялся хвататься Пушкин. – Скажите, Иван Тимофеевич, ведь вам, наверное, по роду вашей деятельности часто приходится сталкиваться с заразительными поветриями. Страшно бывает?

Я признал, что бывает и еще как страшно!

– Однако холера при поданной во время надлежащей врачебной помощи весьма часто бывает излечима, – заметил я.

– А я долго имел о холере самое темное понятие, – начал рассказ Пушкин, – хотя было мне лет двадцать с небольшим, когда старая молдаванская княгиня, набеленная и нарумяненная, умерла при мне в этой болезни. Знал я, что это поветрие пришло к нам из Индии, где она поражает не только людей, но и животных и самые растения, зарождаясь от гнилых плодов.

Я подтвердил его слова, напомнив, что тлетворные холерные миазмы не могут быть ничем другим истреблены, кроме паров минеральных кислот; и следственно, дабы отвратить распространение холеры, необходимо окуривание комнат и вещей.

Пушкин усмехнулся:

– Году еще этак… в двадцать шестом один дерптский студент мне сказал, что Choleramorbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас. Я стал его расспрашивать, и он объяснил мне примерно то же, что сейчас вы. Таким образом, в дальнем уезде Псковской губернии молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно одни во всей России, беседовали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслию всей Европы.

– Помню я хорошо это бедствие, – ответил я, – унесшее и жизнь великого князя Константина Павловича, царствие ему небесное…

– Тогда был я в Москве, – продолжил Пушкин, – и домашние обстоятельства требовали непременно моего присутствия в нижегородской деревне. Перед отъездом прочел я письмо, где говорилось о холере, уже перелетевшей из Астраханской губернии в Саратовскую. По всему видно было, что она не минует и Нижегородской (о Москве мы еще не беспокоились). Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами. Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности, а в моем воображении

холера относилась к чуме, как элегия к дифирамбу.

Приятели, у коих дела были в порядке (или в привычном беспорядке, что совершенно одно), упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество.

На дороге встретил я Макарьевскую ярмарку, прогнанную холерой. Бедная ярмарка! – рассмеялся он. – Она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!

– И даже это вас не остановило? – удивился я.

– Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее с досадой и большой неохотой. Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждаются карантины. Народ ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению. Мятежи вспыхивают то здесь, то там.

Я посетовал на непросвещенность и невежество нашего народа, отвергающего карантинные меры, столь необходимые при поветрии.

– Хотя холера и менее прилипчива, чем восточная язва, однако ж она весьма легко сообщается от прикосновения к трудно больным, и умершим от оной. Опасно даже и вдыхание воздуха, испорченного вредоносными испарениями, – заговорил я, – и потому нельзя отвергать мер предосторожности, ибо холера есть болезнь наносная.

Слова мои были Пушкину неинтересны совершенно. Подумав о чем-то, он продолжил свой рассказ, о том, как занимался в поместье делами, перечитывал Кольриджа, сочинял свои сказки… И к великому счастью, никуда не ездил!

– Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине. Вдруг 2 октября получаю известие, что холера в Москве. Вот тогда страх меня пронял – в Москве… Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава!

Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку. Я стал расспрашивать их. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учрежден карантин, что я не сегодня, так завтра на него наеду и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета.

– Вот и не спорьте с мужиками! – заключил я. – Пожелали они вам многие лета – так и живите!

Пушкин в ответ лишь грустно улыбнулся.

– Правы вы, Иван Тимофеевич! Как наш государь Петр Алексеевич говаривал: «Несчастья бояться – счастья не видать!»

Он пожал мне руку, пожелал доброй ночи и простился. Ямщик уж ждал меня, чтобы везти домой. Так я и оставил Пушкина в тот раз, не вполне успокоенного, но все же приободрившегося. Однако состояние духа его продолжало меня тревожить. К сожалению, доходившие до меня слухи поводов для беспокойства давали немало.

Как я уже неоднократно подчеркивал, к светскому обществу ваш покорный слуга не принадлежал, а значит, все петербургские сплетни доходили до меня с некоторым запозданием и в искаженном виде. Однако на этот раз, довольно ясно понял я, что дело неладно: зная, что пользую я и семейство Пушкиных, петербургские прелестницы сами первыми заводили о них разговор и передавали мне новости в надежде, что я расплачусь с ними ответными откровенностями. Увы, ожидания их были жестоко обмануты. Из бесед с этими дамами пришлось мне узнать, что некий гвардейский офицер блестящей наружности принялся ухаживать за Натальей Николаевной Пушкиной, и та принимает его ухаживания благосклонно. Красивой наружности, ловкий, веселый и забавный, болтливый, как все французы, он был везде принят дружески. Госпожа Пушкина виделась с ним в доме одной общей приятельницы… тут было названо имя дамы весьма вздорной, хоть и изысканной наружности, знаменитой своими прекрасными рыжими волосами.

Сочувствия бедный ревнивый поэт вызывал мало.

– Он сам виноват! – говорила при мне одна прекрасная судия двадцати двух лет от роду. – Он открыто ухаживал сначала за Смирновой, потом за Свистуновой. Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна, привыкнув к неверностям мужа, и стала позволять и себе чуть более того, что почитается приличным. Ах нет! Грань она, по-видимому, не перешла, оставаясь верна мужу. Пока все обходится легко и ветрено. – Глаза молодой сплетницы горели в предвкушении чего-то уже не столь легкого.

Увы, я твердо решился ее разочаровать и не вымолвил в ответ ни слова.

* * *

Несколькими неделями позже в доме самого Пушкина мне пришлось услышать обрывок разговора княгини Веры Федоровны Вяземской, недавно вернувшейся из Италии, где она схоронила дочь, и прекрасной Натальи Николаевны, только что получившей в подарок от известного своего воздыхателя театральный билет.

– Я люблю вас, как свое дитя; подумайте, чем это может кончиться! – увещевала княгиня молодую прелестницу.

– Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Ну что такого может быть? Ничего! Будет то же, что было два года сряду, – смеялась в ответ госпожа Пушкина.

– Извините, милая моя, но в этом случае, оберегая честь своего дома, я буду вынуждена сама напрямик объявить нахалу французу, что я прошу его свои ухаживания за вами производить где-нибудь в другом месте, – довольно резко заявила княгиня. – Я прикажу не принимать господина Геккерна.

Увы, ее серьезность не подействовала на Наталью Николаевну. Она продолжала смеяться и болтать о пустяках.

Княгиня Вера Федоровна была очень любима Пушкиным, который, как я слышал, называл ее княгиней-лебедушкой. Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений молодили ее, хоть эта приятная дама давно уже перешагнула сорокалетний рубеж. Я редко видел ее такой серьезной: княгиня слыла хохотушкой, несмотря на нелегкую жизнь и смерть многих ее детей. Чистый и громкий хохот ее в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал, ибо она скрашивала и приправляла его умом и здравым смыслом. Мне было крайне жаль, что Наталья Николаевна не послушалась старшую подругу.

В свою очередь, и я пытался говорить с ней о расстроенных нервах ее мужа и о его болезненной ревности.

– Вы все сговорились против меня! – ответила мне Наталья Николаевна. – Даже сам государь говорил мне о ревнивом характере моего Пушкина и о комеражах, которым красота подвергает меня в обществе. – Она кокетливо глянула на себя в зеркало и поправила упругий локон. – Он советовал мне быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастия мужа при известной его ревнивости.

– И что же вы?

– Я рассказала об этом Александру Сергеевичу, – призналась красавица. – Он потом благодарил государя за доброе ко мне отношение.

Она рассмеялась.

– Подумайте, оказывается мой ревнивец даже государя подозревал в ухаживании за мною! Но, поверьте, я не даю ему не малейшего повода думать обо мне плохо. Я со всеми ровна, хоть и не держусь букой. На самом деле Александру Сергеевичу нравится, что меня почитают за первую красавицу. – Она кокетливо приподняла свою безукоризненные брови.

Однако повод по всей видимости, все же был. Я посещал несколько раз его дом, навещая Наталью Николаевну, и не мог не заметить, что Александр Сергеевич почти все время был грустен, задумчив и озабочен. Он ходил печально по комнате, надув губы и

опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял: «Грустно! Тоска!»

Шутка, острое слово порой оживляли его электрическою искрою. Пушкин на время оживлялся, даже хохотал, обнаруживая ряд белых прекрасных зубов. И вдруг снова, став к камину и сунув руки в карманы, принимался тосковать. Писал он в то время мало.

* * *

Я постарался выяснить все, что мог о красавце разлучнике, ставшем причиной ревности Александра Сергеевича, и вот что я узнал: Жорж Дантес, француз по происхождению, пару лет назад прибыл в Россию и был принят корнетом в привилегированный Кавалергардский полк по протекции голландского посланника, барона ван Геккерна, с которым Жорж познакомился в дороге.

По-русски он не говорил, но, несмотря на это, Жорж быстро влился в светское общество и, хотя не отличался особым прилежанием на службе, совсем недавно был произведен в поручики. Говорили, что красавец Жорж имел талант нравиться людям, обладал галантными манерами и очень хорошо танцевал. А Наталья Николаевна очень любила танцы! Несмотря на то что Жорж Дантес постоянно ухаживал за светскими дамами и пользовался их благосклонностью, ходили слухи о его совсем не платонических отношениях со своим покровителем, бароном Луи Геккерном: голландский посланник слыл приверженцем однополой любви.

Я знал, что молодой повеса, приемный сын голландского посланника, продолжает видеться с Натальей Николаевной. Александр Сергеевич тоже это заметил, были домашние объяснения; но дамы легко забывают свои обещания, и Наталья Николаевна снова принимала приглашения Дантеса на долгие танцы, что заставляло мужа ее хмурить брови.

Помимо воли моей и противно своим убеждениям пришлось мне стать собирателем сплетен, не с целью передать их дальше, а только ради того, чтобы знать больше о положении дел драгоценного моего пациента.

Одна генеральская дочка на выданье, описывая весело проведенный вечер, поведала мне следующее.

– На лестнице рядами стояли лакеи в богатых ливреях. Редчайшие цветы наполняли воздух нежным благоуханием. Роскошь необыкновенная! – ворковала она.

Я уже привык, что молодые дамы непременно должны были любой свой рассказ начать с описания окружавшей их роскоши и богатства.

– Поднявшись наверх, матушка и я очутились в великолепном саду – пред нами анфилада салонов, утопающих в цветах и зелени. – Глаза молодой барышни сияли восторгом. – В обширных апартаментах раздавались упоительные звуки музыки невидимого оркестра. Совершенно волшебный, очарованный замок. Большая зала с ее беломраморными стенами, украшенными золотом, представлялась храмом огня – она пылала. – Глаза рассказчицы светились восторгом. – Оставались мы в ней недолго: в этих многолюдных, блестящих собраниях задыхаешься. В толпе я заметила Дантеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. – Девушка округлила глаза. – Мне показалось, что лицо его выражало тревогу – он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале.

– И вы последовали за ним? – уточнил я.

– Ах, вовсе нет! – Она надула губки. – Чрез минуту он появился вновь, но уже под руку с госпожою Пушкиной. До моего слуха долетело: «Уехать – думаете ли вы об этом – я не верю этому – это не ваше намерение»…

Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее: они безумно влюблены друг в друга!

– Так уж и влюблены? – усомнился я.

– Да, именно так! – запротестовала она. – Потом я видела как барон танцевал мазурку с госпожою Пушкиной – как счастливы они казались в эту минуту!..

– Возможно, вы все же преувеличиваете силу их взаимной страсти, – предположил я.

– Ах, нет, нисколько! – Девица едва могла скрыть восторг. – Я еще не все вам рассказала! Когда они, танцуя, оказались рядом со мной, я смогла расслышать слова: «я люблю вас, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг…»

– Вот видите, – произнес я. – Госпожа Пушкина верна своему долгу, вы же сами это слышали.

Подобные разговоры расстраивали меня тем более, что я понимал, как они неприятны Александру Сергеевичу. Но я знал, что Наталья Николаевна снова беременна и скоро удалится от светских развлечений. Я с радостью думал о том, что сплетники за время ее отсутствия найдут себе иные предметы для пересуд и все забудется.

Некоторое время все шло именно таким образом. Наталья Николаевна разрешилась четвертым ребенком – девочкой. В тот раз роды были особенно тяжелыми, мне даже пришлось просить помочь Василия Богдановича Шольца, опытнейшего акушера, служившего неподалеку в Воспитательном доме. Его помощь весьма мне пригодилась.

Я предписал роженице домашний режим, долгое время удерживая ее от выездов. Но потом здоровье Натальи Николаевны поправилось, и она снова показалась в свете, блистая небесной прелестью. Женщина, подобная ей красотой, не может оставаться в тени. Она всегда будет привлекать внимание, вызывать восхищение и зависть.

И разразился скандал!

*** * ***

Эти записи, относящиеся уже к последнему году жизни поэта, показывают, что он пребывал в сильной депрессии. Пушкина преследовали мысли о смерти. Из следующей части записок видно, что депрессивное состояние поэта усилилось. Немаловажно для нас, что тут он приводит свою родословную, которая говорит о его наследственной отягощенности.

Глава 9

Надо признать, что Пушкин почти всю свою жизнь был объектом внимания столичных сплетников. И вот теперь они получили новый повод для болтовни.

Миловидная обаятельная дама, известная в обществе как очень умная женщина, но со злым языком, в противоположность своему мужу, которого называли «божьей коровкой», по настоянию молодого красавца-офицера, пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Ничего не подозревавшая Наталья Николаевна оказалась с Жоржем Дантесом наедине и была крайне смущена. Тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастию, ничего не подозревавшая девочка – дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней, ну а потом поспешила уехать домой, где все рассказала мужу.

Пушкин был в бешенстве. Он не скрывал от жены, что будет драться. Он спрашивал ее, по ком она будет плакать.

– По том, – простовато отвечала Наталья Николаевна, – кто будет убит.

Такой крайне неудачный ответ бесил его: он требовал от нее страсти и преданности, а она не думала скрывать, что ей приятно видеть, как в нее влюблен красивый и живой француз. Она сама считала, что пикантная ситуация разрешилась вполне благополучно, честь ее не пострадала и повода для волнений нет. Но супруг ее был иного мнения!

Все пытались успокоить Пушкина, но толку было мало. Подливали масла в огонь и другие его проблемы, связанные с оценкой и продажей села Михайловское, принадлежавшего его покойной матушке. Он показывал мне обширную переписку со своим шурином и с отцом, которые никак не могли столковаться по поводу стоимости имения. Видно было, что эти дела сильно утомили поэта. Он выглядел настолько нездоровым и измученным, что я настоял на медицинском его осмотре. Результаты меня не обнадежили, хотя я не мог поставить ему никакого диагноза.

– Мое здоровье было сильно расстроено в ранней юности, – тихо, но очень быстро говорил Пушкин. – Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже долгие годы я ношу с собой смерть. Неужели им нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая, верно, долго не продлится?!

Аневризма я не обнаружил, зато заметил, что дыхание его было быстрым и неглубоким, таким же учащенным показался мне и пульс. Цвет лица Пушкина, несмотря на смуглую кожу, был изжелта-бледным и говорил о разлитии желчи. Сквозь эту бледность и желтизну пробивался нездоровый румянец, рот то и дело кривился презрительной гримасой, углы его подергивались. Однако болезнь его показалась мне более нервической, нежели телесной. Не смог не припомнить я наставление Матвея Яковлевича Мудрова об удалении больного от забот домашних и печалей житейских, кои сами по себе суть болезни. Зная взаимные друг на друга действия души и тела, я не мог не заметить, что есть и душевные лекарства, которые врачуют тело. Они почерпаются из науки мудрости, чаще из психологии. Сим искусством печального утешишь, сердитого умягчишь, нетерпеливого успокоишь, бешеного остановишь, дерзкого испугаешь, робкого сделаешь смелым, скрытного откровенным, отчаянного благонадежным. Сим искусством сообщается больным та твердость духа, которая побеждает телесные боли, тоску, метание и которая самые болезни, например нервические, иногда покоряет воле больного. Обо всем этом я и попытался сказать Александру Сергеевичу, надеясь его успокоить и привести в более ровное расположение духа. Попытка моя вряд ли была удачной. Понял я, что терзают Александра Сергеевича муки злой ревности и злосчастное его уязвленное самолюбие. Он не мог подолгу сидеть на одном месте, вздрагивал от малейшего шума.

– Апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что лучше взять себе жену, чем идти в геенну и во огнь вечный, – признался Пушкин. – А для меня самый брак оказался такой геенной. Когда я вижу Натали танцующей на балах с другими – все во мне

переворачивается. Уже одно прикосновение чужих мужских рук к ее руке причиняет мне приливы крови к голове. У меня кровь в желчь превращается! – произнес он, заскрежетав зубами. – Тем более, что этот мерзкий француз на самом деле красив и высок ростом. Я вижу, как все любуются ими… а я… Я уродлив!

– Но разве красота ценится в мужчинах? Разве за это жены любят мужей? И разве Наталья Николаевна хоть раз позволила себе нечто сверх разрешенного приличиями? – увещевал его я.

– Я не могу не думать о том, что, оставаясь мне верной физически, Наталья Николаевна может изменить мне в мыслях! – Глаза поэта стали безумными.

– Опомнитесь! Нельзя же так строго судить молодую женщину за ее желание насладиться отпущенными годами жизни. Ведь и вы сами не без греха, – напомнил я. Это было моей ошибкой.

– Обязанность моей жены – подчиняться тому, что я себе позволю, – почти выкрикнул Пушкин, весь вспыхнув. – Вы забываетесь!

Я пробормотал слова извинений. Пушкин нервно вскочил со своего места и принялся бродить по кабинету взад-вперед.

– Я не могу терпеть, чтобы Натали имела какие бы то ни было сношения с этим проходимцем. Я не могу позволить, чтобы этот мерзавец смел разговаривать с моей женой и отпускать ей казарменные каламбуры, разыгрывая преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец.

Я видел, что он дрожит всем телом и почти не владеет собой. Я всерьез опасался за его рассудок.

Душевное состояние Пушкина ухудшилось еще более, когда он сам и некоторые из его знакомых получили письмо на французском языке следующего содержания. «NN, канцлер ордена Рогоносцев, убедясь, что Пушкин приобрел несомнительные права на этот орден, жалует его командором онаго».

Анонимные письма посылать было очень удобно: в это время только что учреждена была городская почта. Легко представить действие сего гнусного письма на Пушкина, терзаемого уже сомнениями, весьма щекотливого во всем, что касается до чести, и имеющего столь пламенные чувства, душу и воображение. Его ревность усилилась, и уверенность, что публика знает про стыд его, усиливала его негодование; но он не знал, на кого излить оное, кто бесчестил его сими письмами.

– Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, гнуснейшего пасквиля, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. Это мерзость против жены моей, – негодовал он. – Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата, – поспешно рассказывал мне Пушкин. – Я занялся розысками. Письмо это было сфабриковано с такой неосторожностью, что с первого взгляда я напал на следы автора.

– И кто же это, по вашему, мог быть? – спросил я.

– Мерзейший содомит барон Геккерн! – выкрикнул Пушкин. – Я прямо написал ему об этом и вызвал на дуэль его так называемого сына. Пистолеты, черт, дороги!

– Ах, батюшка мой, опять дуэль! – расстроился я. – Смертоубийство… Гадость…

В ответ Пушкин показал мне массивную трость с серебряным набалдашником. Он легко поднял ее в вытянутой руке и некоторое время держал навесу.

– Моя рука должна быть сильной, чтобы не дать промаха при выстреле, – объяснил он.

– И вы готовы убить? Помните, что вы сами писали о гении и злодействе!

– Злодейство – спустить подлецу! – почти выкрикнул он.

– И когда же будет эта ваша распроклятая дуэль? – смиренно спросил его я.

Пушкин отбросил трость, словно мой вопрос был для него болезненным. Она упала, произведя довольно сильный грохот.

– Этот пройдоха самым откровенным образом струсил! – рассмеялся он. Смех его звучал зло и отрывисто. – Он принялся умолять меня об отсрочке, интриговал, пытаясь меня отговорить. Обращался к моим друзьям… До того унизился, что как-то на балу довелось мне обронить какую-то безделицу, так этот подлец ее поднял и протянул мне, надеясь хоть таким образом завоевать мое расположение.

– И что же вы?

– Не стал брать! Вырвал из его руки и специально уже бросил на пол! – объявил Пушкин, явно гордясь собой.

– Александр Сергеевич, – остановил его я, – но вы же сами себе противоречите. Не могу сказать, что я вовсе не слыхивал об этом пасквиле, но почему вы обвиняете в его составлении господина Геккерна? Коли он голландский посланник, то дураком уж быть точно не может. Зачем же ему было давать вам такой веский повод для вызова на дуэль, а ваша горячность хорошо известна, а потом, как вы выражаетесь, интриговать, пытаясь отговорить вас от этой дуэли?

Пушкин побледнел.

– А кто же это мог быть? – растерянно спросил он. – Кто?

– Ну откуда же мне знать, милостивый государь! – воскликнул я. – Сами вы утверждали не раз, что люди злы и завистливы, что привыкли вы думать о них самое плохое.

Взревновать к вашему таланту и семейному счастью мог любой.

– Все равно выходка непростительна! – гневливо возразил Пушкин. – Поведение моей жены было безупречно, а поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею господина Дантеса, то и отвечать придется ему. Я, добр, бесхитростен, но сердце мое чувствительно, и оскорблять себя я не позволю!

Я принялся уговаривать его, твердил что-то о церкви, о смирении. Рекомендовал уехать в деревню.

– Я просил отпуск, мне не дали, – несчастным голосом ответил Пушкин. Лицо его изменилось, приняв горестное, почти детское выражение. – Он меня не отпускает.

– Кто? – спросил я.

– Государь император. Я пробую не вывозить жену, император меня тут же в этом упрекает. Он тоже имеет на нее виды. – Взгляд Пушкина снова стал безумным. – Красота Натали привлекает всех. А как мне мериться с государем? Он тут всему хозяин… Царь ухлестывает за моей женой, как обычный офицеришка!

Я отвел глаза, вспоминая рассказ Натальи Николаевны о добрых советах государя. Печальная ситуация в императорском семействе была мне в общих чертах известна. После пяти тяжелейших родов императрицы врачи предупредили, что следующие роды могут стать для нее последними: хрупкий организм этой смелой и сильной женщины не вынесет нагрузки. Любя свою законную супругу больше жизни, государь добровольно отказался от половых с ней сношений, но сам, будучи молодым и физически сильным мужчиной, не мог принять «монашеский» обет. Увы, его любовные похождения слишком часто становились предметом сплетен и давали повод каждому супругу подозревать свою жену в неверности. Наше время, и петербургское общество в особенности, не может служить образцом нравственности, в распоряжении государя всегда были изрядное количество светских прелестниц, имевших сговорчивых неревнивых мужей. Жестоким и абсурдным было подозревать государя в попытках соблазнить скромную красавицу, бывшую женой того, кого он неоднократно называл своим другом. Я попытался довести эту мысль до пациента, но безуспешно. Пушкин ничему не верил.

Боюсь, что этот разговор даже несколько навредил нашим отношениям. Мы стали реже видеться.

* * *

Между тем сделанный Пушкиным вызов стал известен Василию Андреевичу Жуковскому и князю Петру Андреевичу Вяземскому, близким друзьям Александра Сергеевича. Все они старались потушить историю и расстроить дуэль. Геккерн, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына к госпоже Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес делал это с благородной целью, имея намерение просить руки сестры госпожи Пушкиной, Екатерины Николаевны Гончаровой.

Удивление Пушкина было невыразимое; казалось, что все сомнения должны были упасть перед таким доказательством, что Дантес не думает о его жене. Но Пушкин не поверил сей новой неожиданной любви; а так как не было причины отказать в руке свояченицы, тридцатилетней девушки, которой Дантес нравился, то и было изъявлено согласие.

Однако грядущая свадьба отнюдь не пресекла сплетни, а, напротив, подлила масла в огонь. Никто не хотел верить, что Дантес женился по своей воле. Екатерина Николаевна, рослая, статная и даже схожая с чертами со своей прелестной сестрой, красотой в целом не отличалась. О ней говорили, что она смахивала на иноходца или на ручку от помела. Дантес же, которого мне мельком довелось увидеть, был малый смазливый, из тех, что женщинам нравятся. Однако же не всегда мы выбираем, руководствуясь лишь внешней привлекательностью, порой надежным основанием для счастливого брака служат совсем иные черты. Увы, петербургский свет этого понять не мог! Не мог понять этого и бедный Пушкин, видевший в женщинах лишь хорошеньких, но пустых созданий. Он не поверил сей неожиданной любви; ревность его продолжалась, и в душе его не наступило спокойствие.

Мы виделись еще раз. Наталья Николаевна казалась вполне умиротворенной. Она рассказывала о детях, о подрастающей младшей дочке, которая, слава Богу, была здорова. С гордостью говорила о том, что написала брату и тот выделил ей содержание, так что теперь материально их семье станет лучше благодаря ее заботам. Я хвалил ее благоразумие, давал медицинские советы.

Молодая женщина приободрилась и принялась рассказывать о какой-то шубке из голубого песца, стоящей восемьсот рублей, которую ей дарит тетушка. Эту шубку надобно было купить непременно в Москве.

– Там меха дешевле и красивее, чем здесь, – объяснила Наталия Николаевна.

К сожалению, в мехах и дамских нарядах я разбирался намного хуже, чем в мигренях и сердцебиениях, о чем и доложил хозяйке. Она лишь рассмеялась в ответ.

– У нас готовится свадьба. – Молодая женщина с радостью сообщила мне то, что я уже знал и так. – Моя сестра Екатерина выходит за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника короля голландского. Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде и, – она смущенно отвела глаза, – четырмя годами моложе своей нареченной. – Потом она снова улыбнулась. – Шитье приданого сильно занимает нас с Катей, но приводит в бешенство Александра Сергеевича. Он все твердит, что его дом имеет вид модной и бельевой мастерской.

Я внимательно всматривался в ее лицо, пытаясь отыскать следы ревности – и не находил их. Она искренне радовалась и смеялась, что было бы невозможно, если бы г-жа Пушкина испытывала какие-то чувства к Дантесу.

Видел я и ее сестру, взволнованную предстоящим венчанием. Она казалась похорошевшей и несколько пополневшей, что ей очень шло. Щеки и глаза ее пылали. Она притворно жаловалась на то, что положение невесты крайне скучное, что хлопоты о приданом вещь отвратительная, и очень переживала: найдет ли ее маменька Жоржа красивым по портрету.

Я стал надеяться, что все успокоилась и дела пойдут, как и раньше. Увы, этого не случилось!

Выйдя с женской половины, я осмелился постучаться в кабинет хозяина дома, который он называл «каморкой», подыскивая предлог для разговора. Он ведь сам предлагал мне пользоваться его библиотекой? Не попросить ли книгу? Или лучше выразить свое восхищение вышедшим на днях четвертым томом «Современника», а особенно напечатанным там романом «Капитанская дочка», действительно чудесным.

Впрочем, ничего этого не потребовалось: я нашел Пушкина совершенно больным, в насморке. Стал предлагать лечение и услышал в ответ, что в подобным пустяком он справится сам. Но уйти просто так мне не хотелось.

– Знаю, милостивый государь, что вы не любите подобных разговоров, – начал я. – Но моя супруга уж очень просила вам передать свои восторги. Заверяю вас, они совершенно искренни и бескорыстны. «Капитанская дочка» была ей прочтена и перечитана… ах, недаром вам нравилась эта песня!

Пушкин глянул на меня мрачно, без тени улыбки или удовольствия.

– Я не стану спрашивать, пишете ли вы что-то еще, – поспешил успокоить его я.

Но и эти мои слова не вызвали в нем улыбки.

– Отчего же, не писать? Вот, пишу! – Он протянул мне лист бумаги.

«…То, что было мускус темный,/ Стало нынче камфора…» и далее в конце: «Сладок мускус новобрачным, / Камфора годна гробам», – прочел я строки, совсем не годившиеся в качестве поздравления молодым.

– Помнится, дядя ваш покойный, когда вы женились, писал про розы и мирт, а вы вдруг о камфоре, Александр Сергеевич, – обратился к нему я. – Отчего вы так нахмурены? Что вас печалит? Ведь все разрешилось. Виной всему было простое недоразумение… Этот столь неприятный вам офицер оставил вашу супругу в покое и женится на вашей свояченице… Девица счастлива.

– Вы верите в сей отвратительный спектакль, Иван Тимофеевич? – спросил он.

– Почему же я не должен в это верить? – изумился я. – Коли свадьба уж точно назначена.

– Уж больно кроткий промежуток времени потребовался Дантесу, чтобы воспылать любовью к Екатерине, – ответил Пушкин. – Как раз те две недели, что его так называемый отец выпросил у меня отсрочки после вызова.

– Да будет вам! – возразил я. – Какое вам дело до его побуждений? Супруга ваша весела, свояченица весела, честь вашего семейства не пострадала…

– Не пострадала? – воскликнул Пушкин. – Да никогда еще с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных! Геккерн-Дантес женится! И на ком? На старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, изящной красавицы, жены поэта Пушкина. Женится подлец из трусости, потому что я поставил ему ультиматум: стреляться или жениться…

Он заскрежетал зубами. Надо признать, я подумал о том, что ведет он себя самым глупым и нелепым образом, но вслух, конечно, этого не сказал.

– Я никогда не позволю жене ни присутствовать на свадьбе, ни принимать у себя замужнюю сестру, – заявил он.

– Вы говорили об этом с Натальей Николаевной, – спросил я. – Ведь речь идет о разлуке с ее родной сестрой, к которой она сильно привязана.

– Натали пыталась меня переубедить, – признался он. – Но Натали начала мне лгать: когда я рядом, она не смотрит на Дантеса и не кланяется ему, а когда меня нет, опять принимается за прежнее кокетство!

– Да вы придумали все это, Александр Сергеевич! – воскликнул я. – Я только что говорил с вашей женой, она искренне рада за сестру и счастлива ее счастьем.

Взгляд Пушкина стал безумным.

– Эта дура радуется, что за ней, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая ей задницу; есть чему радоваться! И кого, кого она мне предпочла! Пошлого офицеришку, содомита! – Он обернулся ко мне.

Я не мог не обратить внимания на грубость его выражений.

– Но почему же именно содомита? – поинтересовался я.

Лицо Пушкина исказилось.

– О том, что Дантес предается содомскому греху, стало известно в свете мне первому, и я с радостью сделал эту новость достоянием общества, – быстро скороговоркой проговорил он. – Узнал я об этом от девок из борделя, в который он захаживал. Они рассказали мне по секрету, как их верному другу, что Дантес платил им большие деньги за то, чтобы они по очереди лизали ему сраку, которая была разорвана и кровоточила точно так же, как у моих блядей, когда их беспощадно е*ли в жопу.

Я опешил, не веря своим ушам. Мог ли поэт, гордость России, выговаривать столь омерзительные вещи? Не ослышался ли я или он и вправду бахвалится тем, что распускает по городу гнуснейшие сплетни?

Глаза Пушкина пылали безумным огнем.

– Когда Геккерн усыновил его, тогда уже ни у кого не оставалось сомнений, – все так же скороговоркой продолжил Пушкин. – Этот представитель коронованной особы отечески сводничал своему приемному сыну, а вернее – любовнику. Подобно бесстыжей старухе, он подстерегал мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви своего так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, Геккерн говорил, что он умирает от любви к ней.

– Помилуйте, Александр Сергеевич, в уме ли вы? – обратился к нему я. – Верите ли вы сами в то, что говорите? Возможно, ваше поэтическое воображение…

Но он меня не слушал! Все мои уговоры, увещевания пропадали даром.

В тот раз я покинул его дом, полный самых мрачных предчувствий. Увы, они оправдались.

Глава 10

Минуло уже шесть часов вечера 27 генваря, день шел к ночи, когда приехал за мною человек Пушкина.

– Александр Сергеевич очень болен, приказано просить как можно поскорее, – доложил он.

Я не медля отправился. В доме больного я нашел докторов Шольца и Задлера. С изумлением я узнал об опасном положении Пушкина и о его ранении.

Подполковник Данзас в двух словах описал мне дуэль, рану пулею в нижнюю часть брюха, путь домой в семь с половиной верст, частые обмороки и невыносимые боли, мучившие раненого…

Потом, поговорив и с другими очевидцами, я воспроизвел всю картину.

Дуэль состоялась вскоре после четырех часов в семи с половиной верстах на Черной Речке.

Дантес выстрелил первым, Пушкин упал левым боком на шинель, служившую барьером, и какие-то мгновения не двигался, лежа вниз лицом. Секунданты и Дантес быстро подошли к нему. Но он приподнялся: «У меня хватит сил на выстрел…» Дантес снова стал на свое место. Пушкин, сидя, опираясь левой рукой о землю, правой прицелился и выстрелил, легко ранив Дантеса в руку. Мой коллега Карл Карлович Задлер, делавший офицеру перевязку, сообщил, что рана была сквозной и неопасной.

Продолжать поединок поэт больше не мог. Снова упал и на несколько минут потерял сознание. На шинели его тащили к саням, оставляя на снегу кровавый след, потом на руках перенесли в сани, совсем не приспособленные для того, чтобы везти раненого. На дороге ждала более удобная карета, принадлежавшая барону Геккерну, о чем Пушкину, конечно, не сказали. Менее пострадавший Дантес любезно уступил карету трудно раненному.

Ехали долее часа, везли Пушкина сидя, в карете лечь было невозможно. Поэта беспокоила сильная боль в области ранения, мучительная тошнота, кратковременные потери сознания, из-за которых приходилось останавливаться. В дом его внесли на руках и сразу же послали за докторами.

Вечером спешно найти кого-то было довольно затруднительно, поэтому первым делом кинулись в Воспитательный дом, к Василию Богдановичу Шольцу. Шольц, бывший акушером, а не хирургом, отправил за доктором Задлером, в это время как раз делавшим перевязку раненому Дантесу. Карл Карлович служил главным врачом придворного конюшенного госпиталя и имел большой практический опыт работы хирургом, но, направляясь к Дантесу, он не захватил с собой всех инструментов, и потому ему пришлось задержаться, чтобы заехать за ними. Так что мы явились к Пушкину почти одновременно.

Больной лежал в своем кабинете, так хорошо мне знакомом, на диване. В углу комнаты валялась куча окровавленной одежды, которую никто не потрудился вынести. По количеству крови я понял, что дело крайне серьезно.

Увидев меня, Пушкин дал мне руку и спросил:

– Плохо со мной?

Я подтвердил, что нехорошо.

Пушкин попросил:

– Дайте мне воды, меня тошнит.

Голос его был ясным, хоть и негромким, выговор твердым. Я потрогал его пульс, нашел руку довольно холодною – пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении; вышел за питьем и тут же отправил посыльного за своим коллегами – опытнейшими хирургами, докторами Арендтом и Саломоном.

Наталья Николаевна остановила меня в коридоре. Ей почти ничего не рассказали, и теперь она пребывала в крайней волнении. Она то и дело порывалась войти к мужу и спрашивала, что случилось. Я очень коротко объяснил ей, в чем дело, и постарался успокоить. Повинуясь взгляду господина Данзаса, я старался не вдаваться в подробности и

ограничился только самыми общими деталями. После я вновь вернулся в кабинет. Наталия Николаевна хотела войти со мной, но больной просил ее удалить и не допустить при исследовании раны.

– Мне очень худо, – сказал Пушкин, с мукой поворачиваясь ко мне.

Черты лица его заострились, он был крайне бледен. Вдвоем с Карлом Карловичем мы исследовали рану, Шольц помогал нам. Во время осмотра Пушкин вел себя очень мужественно. Потом громко и ясно спросил меня:

– Что вы думаете о моей ране? Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу; дорогою шло много крови – скажите мне откровенно, как вы рану находите?

– Не могу скрывать, что рана ваша опасная, – признался я.

– Что вы думаете о моем состоянии, говорите откровенно, – настаивал он.

– Не могу от вас скрыть: рана тяжелая и опасная, – ответил я.

– Смертельная?

Карл Карлович опустил глаза, признавая вероятность такого исхода.

– Услышим еще мнение докторов Арендта и Саломона, – с надеждой проговорил он. – За ними уже послано.

Безусловно, мнение это было более чем важно. Николай Федорович Арендт – лейб-медик Николая I, тайный советник, доктор медицины, имел опыт лечения раненых в тридцати боевых сражениях! Во время Отечественной войны он прошел вместе с армией путь от Москвы до Парижа. Его операции в Париже видели французские хирурги и дали им восторженную оценку.

Профессор Христиан Христианович Саломон возглавлял кафедру и клинику оперативной хирургии Петербургской академии, а его труды по оперативной хирургии, без сомнения, составят его посмертную славу.

Пушкин замолчал, соглашаясь с нами, но, кажется, надежды он не испытывал. Через несколько минут он сказал:

– Мне кажется, что много крови идет.

Шольц, посмотрев рану, наложил новый компресс, но сказал, что крови немного.

– Я обречен, не так ли? – спросил Пушкин.

Я подтвердил, что надежды мало, и добавил:

– Придет время, и я сочту своим долгом сказать вам всю правду. А теперь подождем все же Арендта, он очень сведущий медик, мы должны обменяться мнениями. Лишнее суждение, каково бы оно ни было, вам не помешает.

– Благодарю, – сказал Пушкин, – вы ведете себя как порядочный человек. Мне надо устроить домашние дела.

– Может, предупредить кого-нибудь из ваших родственников или друзей? – спросил я.

Пушкин промолчал, задумавшись. Потом повернул голову к книгам и произнес:

– Прощайте, мои добрые друзья.

Но нельзя было понять, к кому он обращался – к мертвым или к живым. Немного погодя спросил:

– Думаете, я проживу еще час?

– О, несомненно! Я спросил только потому, что полагал, вам будет приятно увидеть кого-нибудь из близких, например господина Плетнева, он здесь.

– Да, – ответил Пушкин, – но прежде всего я хотел бы увидеть Жуковского. – Потом внезапно попросил. – Дайте воды, у меня останавливается сердце.

Через несколько минут вошел Николай Федорович Аренд. Был он полноват и одышлив, сейчас по тяжелому дыханию своего коллеги я понял, как он торопился к больному. За ним почти сразу же появился обеспокоенный Христиан Христианович Саломон. Выслушав нас, они принялись за осмотр. Удалось прощупать в области нижней трети крестца под кожей пулю. Это означало, что крестец раздроблен. Арендт признал, что никакой надежды нет.

Пушкин настоял сказать правду о своем состоянии для того, чтобы успеть сделать соответствующие распоряжения. Раненый мужественно встретил слова врача:

– Я должен вам сказать, что рана очень опасна и к выздоровлению вашему я почти не имею надежды, – произнес Арендт.

Со мной он был более откровенен.

– Штука скверная, он умрет, – сказал он мне вполголоса, когда мы вышли в коридор.

Раненый потерял несколько фунтов крови, поэтому следовало как можно быстрее остановить кровотечение. Арендт прописал давящие повязки, холодные примочки на живот, освежающее питье с кусочками льда. Безусловно, эти меры продлили жизнь раненому поэту. Наружное кровотечение удалось остановить, и Александр Сергеевич почувствовал себя лучше.

Вслед за Арендтом прибыл доктор Владимир Иванович Даль, по его собственному признанию, предпочитавший медицине – литературу. Известность ему составили сказки в народном духе, в которых он стремился познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком и говором. Но несмотря на эти его предпочтения, он участвовал в качестве врача в турецкой и польской военных кампаниях и был достаточно сведущ в хирургии.

Войдя, он нашел нас с Арендтом в передней и сразу спросил о положении больного. Мы ничем не могли его обнадежить. Выслушав нас, Владимир Иванович вошел в кабинет, подошел к болящему и пожал ему руку. Они говорили тихо и недолго.

Состояние духа Пушкина резко изменилось по сравнению с моим предыдущим его посещением. Он более не спорил, не нервничал, не переживал из-за мирских сует. Умирая, он заставил всех присутствовавших сдружиться со смертью, так спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, что последний час его ударил. Он исполнял все врачебные предписания. По желанию родных я напомнил ему об исполнении христианского долга. Он тот же час на то согласился.

– За кем прикажете послать? – спросил я.

– Возьмите первого, ближайшего священника, – отвечал Пушкин.

Послали за отцом Петром, что в Конюшенной. Больной вдруг вспомнил о своем коллеге издателе Николае Ивановиче Грече, у которого недавно умер сын.

– Если увидите Греча, – молвил он, – кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере.

Врачи, уехав, оставили на мои руки больного. Священник прибыл. Он скоро отправил церковную требу: больной исповедался и причастился святых таинств.

К полуночи состояние Пушкина вновь ухудшилось: началось омертвение части кишечника.

– Мне очень плохо, мой милый Иван Тимофеевич, – пожаловался больной.

Я попытался его успокоить, но Пушкин обреченно махнул рукой. С этой минуты он уже, казалось, перестал думать о себе, мысли о жене всецело поглотили его.

– Пожалуйста не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица. Вы ее хорошо знаете, она должна все знать, – сказал он мне. – Вы ведь знаете, как она слаба. А со мной делайте что угодно, я на все согласен, готов ко всему.

И действительно, госпожа Пушкина, не зная, сколь велика опасность, была в полном отчаянии, и это легко понять: убежденная в своей невиновности, она вместе с тем прекрасно понимала, из-за чего произошла дуэль. Жена поэта не могла себе простить, что стала невольной причиной несчастья, всей глубины которого она пока не подозревала. Время от времени она неслышно, словно тень, входила в комнату мужа. Он лежал, повернувшись к стене, и не мог ее видеть, но каждый раз, когда она оказывалась рядом, несомненно, чувствовал ее присутствие и тихо говорил:

– Здесь моя жена, уведите ее, прошу вас.

Казалось, раненого беспокоили не столько собственные страдания, сколько то, что их увидит жена.

– Бедняжка, – сказал он как-то, слегка пожав плечами, – свет осудит ее с наслаждением, а между тем она невиновна.

Обо всем этом он рассуждал спокойно, будто был здоров, как обычно: за исключением двух-трех часов первой ночи, когда страдания превышали пределы человеческих сил, он был поразительно сдержан.

К ночи вновь воротился Арендт. Его оставили с больным наедине.

– Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат, – услышал я, выходя из комнаты.

Умирая, Пушкин беспокоился не о себе, а о своем секунданте и товарище по Лицею.

Лейб-медик Арендт имел возможность просить о нем государя.

– Я присутствовал при тридцати сражениях, – часто повторял впоследствии доктор Арендт, – видел многих умирающих, но не встречал ни одного, обладавшего таким мужеством, как Пушкин.

Я ушел в комнаты Натальи Николаевны и застал с ней княгиню Вяземскую, чему был очень рад. Эта сильная духом женщина, много пережившая и потерявшая нескольких детей, как никто лучше, могла утешить молодую супругу несчастного поэта.

Я пощупал пульс Натальи Николаевны: он был заметно учащенный. Бледное лицо ее искажала судорога страдания. Всегда тщательно уложенные волосы растрепались. Я дал ей успокоительного и кратко ответил на вопросы о состоянии поэта, как он и просил, не давая больших надежд и не скрывая тяжести его состояния.

Когда я вновь вошел к больному, Пушкин спросил,

– Что делает жена?

– Она стала несколько поспокойнее, – доложил я.

– Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском, – возразил он.

Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время.

Уезжая, доктор Арендт просил меня тотчас прислать за ним, если я найду то нужным.

Я спросил Пушкина, не угодно ли ему сделать какие-либо распоряжения.

– Все жене и детям, – кратко ответил он и попросил позвать Данзаса.

Тот немедленно пришел, и они остались наедине. Насколько я могу знать, разговор пошел о долгах Пушкина. Я ранее видел эти бумаги, список кредиторов был обширен.

Около четвертого часу боль в животе начала усиливаться, и к пяти часам сделалась значительною. Я послал за Арендтом, он не замедлил приехать и назначил промывательное, вероятно, зря: боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась; взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку. Но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только тяжко стонал, боясь, как он говорил, чтоб жена не услышала, чтоб ее не испугать.

– Зачем эти мучения, – сказал он, – без них я бы умер спокойно.

Арендт назначил опий и каломель, и наконец боль, по-видимому, стала утихать. Однако еще некоторое время лицо Пушкина выражало глубокое страдание, руки по-прежнему были холодны, пульс едва заметен.

– Жену, просите жену, – сказал Пушкин.

Я отправился за Натальей Николаевной. Оказалось, что она слышала тяжелые стоны и теперь ожидала меня с ужасом. Молодая женщина тут же поспешила в кабинет и с воплем горести бросилась к страдальцу. Она упала на колени перед его ложем, целовала ему руки… Ее роскошные темные кудри пышной волной рассыпались по плечам…

Это зрелище у всех извлекло слезы.

– Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтоб забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона. – напутствовал он Наталью Николаевну. Она отвечала ему горестным рыданием.

Эта слабая женщина никак не могла утешить своего мужа при его кончине. Несчастную непременно надобно было отвлечь от одра умирающего, и я чуть ли не силой увел ее из комнаты. И вовремя: с ней случился ужасный приступ неимоверной силы судорог.

– Я была ему верна! – твердила госпожа Пушкина в промежутках между спазмами. – Что бы обо мне не болтали, я была ему верна!

Я многократно заверил пациентку. что в ее верности супругу никто не сомневается, и сам Александр Сергеевич много раз повторил.

– Вы ни в чем не виноваты! – повторял я.

Постепенно приступ миновал и больная обрела способность изъясняться более внятно. Опираясь на меня, Наталья Николаевна прошла в свою спальню. К счастью, большую помощь оказала тут княгиня Вяземская, дама в высшей степени благоразумная и стойкая. Он взяла на себя заботу о бедной Наталье Николаевне, находившейся в самом плачевном состоянии духа.

А в сенях дома уже собралась толпа: многочисленные знакомые, коллеги по журналу «Современник», кредиторы, да и просто зеваки, собрались, желая узнать, каково состояние здоровья больного. Многие изъявляли желание с ним попрощаться. Естественно, я не мог, да и не хотел, сообщить им ничего и, продравшись сквозь толпу, вернулся в «каморку». Арендт и Даль молча сидели подле Пушкина. Пушкин держал Даля за руку. Все молчали, лишь только больной почасту просил ложечку холодной воды, кусочек льду и всегда при этом управлялся своеручно – брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал и накладывал себе на живот припарки, и всегда еще приговаривая:

– Вот и хорошо, и прекрасно!

Иногда он делал распоряжения, отписывая своим друзьям те или иные вещи, в качестве памятных подарков. Вашему покорному слуге досталась памятная «скучная книга» и та самая тяжелая трость с серебряным набалдашником, которая так плохо исполнила свою роль. Хотя, если бы овдовели обе сестры, разве было бы лучше?

Собственно, от боли Пушкин страдал, по словам его, не столько, как от чрезмерной тоски, что нужно приписать воспалению брюшной полости, а может быть, еще более воспалению больших венозных жил.

– Ах, какая тоска! – восклицал он, когда припадок усиливался, – сердце изнывает!

Тогда просил он поднять его, поворотить или поправить подушку – и, не дав кончить того, останавливал обыкновенно словами:

– Ну, так, так, хорошо; вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо!

Вообще был он послушен как ребенок, делал все, о чем я его просил.

– Кто у жены моей? – спросил он между прочим.

Я ответил, что за ней смотрит княгиня Вяземская, и добавил:

– Много людей принимают в вас участие – зала и передняя полны.

– Ну спасибо, – отвечал он, – однако же скажите жене, что все, слава Богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят.

Я спросил его, не хочет ли он видеть своих друзей.

– Зовите их, – отвечал он.

Жуковский, Виельгорский, Вяземский, Тургенев и Данзас входили один за другим и братски с ним прощались.

– Что сказать от тебя царю, – спросил Жуковский.

– Скажи, жаль, что умираю, весь его бы был, – отвечал Пушкин.

Жуковский и Арендт вскоре отбыли к государю, доложить о положении дел и испросить высочайшее прощение умирающему.

Пушкин спросил, здесь ли Плетнев и Карамзины. Они вошли и попрощались с умирающим.

Потом Пушкин потребовал детей и благословил каждого особенно. Я взял больного за руку и щупал его пульс. Когда я оставил его руку, то он сам приложил пальцы левой своей руки к пульсу правой, томно, но выразительно взглянул на меня и сказал:

– Смерть идет.

Он не ошибался, смерть летала над ним в это время, но Пушкин еще держался за жизнь, ожидая известий от государя.

– Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно, – говорил он.

Наконец доктор Арендт приехал с запиской от императора: «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки», – всемилостивейше написал ему добрый наш государь. Действительно, впоследствии он заплатил все долги несчастного поэта и выделил его жене и детям пенсион. Все восхищались благородством императора.

* * *

Проведя у постели Пушкина бессонную ночь, в одиннадцатом часу утра я оставил его на короткое время, и даже простился с ним, не полагая найти его уж в живых по моем возвращении. Но по возвращении моем в полдень больной был еще жив. Мне казалось, что он стал спокойнее, руки его казались теплее и пульс явственнее, но и боль в животе ощутимее. Больной охотно соглашался на все предлагаемые ему пособия. Он охотно брал лекарства, заботливо спрашивал о жене и о детях.

Вследствие полученных от доктора Арендта наставлений приставили мы Пушкину двадцать пять пиявок. Больной наш твердою рукою сам ловил и припускал себе пиявки и неохотно допускал нас около себя копаться. Пульс сделался ровнее, реже и гораздо мягче. Это обмануло доктора Даля. Он ухватился за надежду, как утопающий за соломинку.

Пушкин заметил перемену в его настроении и спросил:

– Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?

– Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся! – пылко проговорил тот.

– Ну, спасибо, – с мягкой улыбкой ответил ему Пушкин.

Но по-видимому, он однажды только и обольстился надеждою; ни прежде, ни после этого он ей не верил; спрашивал нетерпеливо:

– Скоро ли конец?

Он часто требовал холодной воды, которую ему давали по чайным ложечкам, что весьма его освежало. Пробыв у больного до четвертого часу, я снова его оставил на попечении доктора Даля и возвратился к нему около семи часов вечера.

Так как эту ночь предложил остаться при больном доктор Даль, то я оставил Пушкина около полуночи. Рано утром 29 числа я к нему возвратился. Пушкин истаевал. Руки были холодны, пульс едва заметен. Он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах, иногда держал во рту небольшие куски льду и от времени до времени сам тер себе виски и лоб льдом.

Пришедший вслед за мной доктор Арендт подтвердил мои опасения. Около полудня больной спросил зеркало, посмотрел в него и махнул рукою. На лице его уж лежала печать смерти.

Пушкин неоднократно приглашал к себе жену. Вообще все ходили к нему только по его желанию. Нередко на вопрос:

– Не угодно ли вам видеть жену, или кого либо из друзей.

Он отвечал:

– Я позову.

Незадолго до смерти ему захотелось морошки. Наскоро послали за этой болотной северной ягодой. Он с большим нетерпение ее ожидал и несколько раз повторял:

– Морошки, морошки…

Наконец привезли морошку.

– Позовите жену, – сказал Пушкин, пусть она меня кормит.

Он съел две-три ягодки, проглотил несколько ложечек соку морошки, сказал – довольно и отослал жену. Лицо его выражало спокойствие.

Это обмануло несчастную его супругу, выходя, она сказала мне с трогательной надеждой:

– Вот увидите, что он будет жив, он не умрет.

Но судьба определила иначе. Минут за пять до смерти Пушкин просил поворотить его на правый бок. Даль, Данзас и я исполнили его волю: слегка поворотили его и подложили к спине подушку.

– Хорошо, – сказал он и потом несколько погодя промолвил, – Жизнь кончена!

– Да, кончено, – сказал доктор Даль, – мы тебя поворотили,

– Кончена жизнь, – возразил тихо Пушкин.

Не прошло несколько мгновений, как вновь заговорил:

– Теснит дыхание.

То были последние его слова. Оставаясь в том же положение на правом боку, он тихо стал кончаться, и – вдруг его не стало.

В комнате воцарилась тишина. Потом доктор Арендт, сверив время, констатировал смерть. Совершив все необходимые процедуры, мы повернули тело поэта на спину и, закрыв ему глаза, скрестили на груди руки. Арендт и Даль посмотрели на меня, как бы прося пригласить для прощания супругу. Молча кивнув, я вышел из кабинета.

Глава 11

Я прошел в комнаты к Наталье Николаевне.

Вместе с ней в комнате была княгиня Вяземская, бледная, но спокойная. Наталья Николаевна с безумным видом переводила взгляд, смотря то на нее, то на меня.

– Пушкин умер? Скажите, скажите правду! – спрашивала она.

Княгиня, быстро поняв все, решительно подошла к ней и крепко сжала несчастную в объятиях. Она не могла произнести ни слова.

– Умер ли Пушкин? Все ли кончено? – высвобождаясь из ее цепких объятий, проговорила Наталья Николаевна, глядя на меня.

Я склонил голову в знак согласия.

– Умер.

Она закрыла глаза, призывала своего мужа, говорила с ним громко; говорила, что он жив; потом кричала:

– Бедный Пушкин! Бедный Пушкин! Это жестоко! Это ужасно! Нет, нет! Это не может быть правдой! Я пойду посмотреть на него!

Теперь ничто не могло ее удержать. Она через весь дом побежала к нему, распахнув дверь кабинета, бросилась на колени, то склонялась лбом к оледеневшему лбу мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, трясла его, чтобы получить от него ответ. Княгиня прошептала мне, что опасается за ее рассудок и здоровье.

Страдание придавало романтический окрас наружности молодой красавицы, делая эту женщину похожей на святую кисти Риберы или Бернини… Мучения душевные перешли в нервное расстройство, и у Натальи Николаевны вновь сделались судороги, столь сильные, что тело ее выгибало колесом, а ноги ее подтягивало к голове. Мне стало ясно, что опасения княгини были не беспочвенны.

– Нужно уложить ее, – прошептал я.

Доктор Даль кивнул в ответ. Вдвоем мы подняли молодую женщину и почти что на руках отнесли ее в спальню. Затем Даль вышел, а княгиня Вяземская и я остались с Натальей Николаевной.

– Я была ему верна, – в который раз проговорила молодая вдова. – А вот Саша мне – нет. Он изменял мне, изменил первый раз перед самой свадьбой, думал, мне не передадут. А мне передали! И с кем?! С крестьянкой, с крепостной девкой, от которой у него уже был сын.

Госпожа Вяземская осуждающе покачала головой.

– Наталья Николаевна, к чему теперь думать об этом? Негоже мне пачкать ваш слух такими подробностями, но большинство светских дам подобное и за измену бы не сочли, – произнес я.

– Ах! Я не так наивна, как вы думаете! Пусть, то не в счет, но ведь повторилось и после! И уже не с крестьянкой… С замужней женщиной… И эта дама позволяла себя смеяться над моей ограниченностью. По ее мнению, нет у меня ни ума, ни воображения… Да, я не умна, я знаю. Возможно, я чрезмерно кокетлива, Саша часто упрекал меня в этом. Твердил после балов, что я кокетничаю не путем, напоминал, что кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона и в нем мало толку… Ах, он мне писал такие грубости!

Она вдруг вскочила и кинулась с бюро. Порывшись в ящике, выхватила листок и протянула его мне.

«Нехорошо только, что ты пускаешься в разные кокетства, – прочел я – Принимать… – ах, я забыл, что за фамилия там была! – тебе не следовало, во-первых, потому, что при мне он у нас ни разу не был, а во-вторых, хоть я в тебе и уверен, но не должно свету подавать повод к сплетням. Вследствие сего деру тебя за ухо и целую нежно, как будто ни в чем не бывало».

Но за этим достаточно невинным письмецом следовало другое: «Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой… К чему тебе принимать мужчин, которые за тобой ухаживают? Не знаешь, на кого попадешь…» – успел заметить я строчки и тут же отложил письмо,

сообразив, что оно слишком интимное, чтобы я мог читать его.

– Натали, что вы делаете! – воскликнула княгиня.

– Наталья Николаевна, не нужно давать мне читать партикулярные письма, эти слова, что бы они ни значили, предназначались только вам.

– Ах, простите меня… Я глупо веду себя и бестактно, – опомнилась она, бросив письмо на пол. Княгиня немедленно подобрала его и не читая положила назад в ящик. – Я так говорю об Александре Сергеевиче, словно он был мне плохим мужем. А это неправда, – продолжала твердить Наталья Николаевна. – Он был ревнив, но любовь его ко мне была безгранична. – Она страдальчески улыбнулась, не переставая плакать. – Мне передавали, что получая мои письма, он целовал эти листочки бумаги. А один раз в моем письме откуда-то оказалась булавка, и он воткнул эту булавку в отворот своего сюртука.

Это воспоминание причинило ей боль. Наталья Николаевна воздела руки, потом прижала кончики пальцев к вискам. Она находилась в крайнем возбуждении и продолжала все время что-то говорить. По большей части это были бессвязные фразы, но иногда она пересказывала какие-то эпизоды из своей супружеской жизни.

– Однажды он воротился из Москвы, а я тот вечер была на балу у Карамзиных, – рассказала она. – Саше хотелось видеть меня и своим неожиданным появлением сделать мне сюрприз. Он поехал к квартире Карамзиных, отыскал мою карету, сел в нее и послал лакея сказать, чтобы я ехала домой по очень важному делу, но наказал отнюдь не сообщать мне, что он в карете. Тогда я как раз танцевала мазурку с князем Вяземским и ехать не хотела. Но лакей явился во второй раз, твердя, что мне надо домой безотлагательно… Не зная, что и подумать, я попрощалась, спустилась вниз, вошла в карету… и прямо попала в объятия мужа. На мне было розовое платье… Саша, сказал, что я была чрезвычайно авантажна. То ведь было очень красивое платье? – обратилась она к княгине.

– Изумительное платье, – подтвердила та. – И очень вам к лицу было.

Наталья Николаевна вновь зарыдала, губы и щека ее стали судорожно подергиваться, и я забеспокоился, что ужасный приступ повторится.

– Саша любил легкомысленных, свободных болтуний, – говорила она. – А я болтать не умею. Ему веселые нравились, а я печальна… Но если я веселилась – он тут же принимался ревновать, упрекал, что я искокетничалась. Он говорил мне, что чувствует себя близким к сумасшествию, когда видит меня разговаривающей и танцующей на балах с красивыми молодыми людьми. Но не могла же я всех сторониться и все время молчать? Ах, он не переносил, когда меня брали за руку… Но в танцах всегда держатся за руки… Все танцуют…

Но я никогда не позволяла никому ничего сверх разрешенного приличиями. Ах, Саша твердил мне о любви… Называл меня своим богом, которому он поклоняется, которому верит всем сердцем. А была ли я достойна этой любви? Но его ужасная ревность!.. Сам государь предупреждал меня о том, как он невероятно, отчаянно ревнив… Если не было повода, то он придумывал его. Жорж Дантес – он для меня ничего не значил!

Княгиня Вяземская стала успокаивать Наталью Николаевну, подтверждая ее невиновность.

– Я чувствовала к Дантесу не более чем род признательности за то, что он постоянно занимал меня и старался быть мне приятным. Сашина фантазия, его фантазия поэта обернулась для меня проклятием. Ведь я не виновата!.. – И она снова закричала и зарыдала как раненое животное.

Я накапал Наталье Николаевне опия. Слушать ее горестные сетования больше не было сил.

– Он так мало делился со мной своими мыслями, – продолжала говорить Наталия Николаевна уже успокаиваясь. – Я так мало знала о том, что творилось у него в душе. Да, я много его моложе, я необразованна, у меня нет опыта, я не умна… Ольга, сестра его, однажды с чего-то вдруг сказала, что боится, что он и до срока лет не доживет. Не дожил… Но я его супруга, жена! А я ничего не знала про дуэль, он мне не сказал…

– Наталья Николаевна, это свидетельствует о его любви и заботе, а не о недоверии. Ведь вы ничего бы уже не могли изменить.

– Не могла… Ах, как тяжело! – воскликнула она.

Опий начинал действовать. Прекрасные глаза ее туманились, она засыпала. Княгиня осталась сидеть рядом с ней, заботливо поглаживая молодую вдову по волосам.

* * *

В течение трех дней, в которые тело поэта оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснилось пестрой толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести.

Что касается петербургского общества, то там мнения разнились. Встречал я тех, кто искренне сожалел о краткости блестящего поприща поэта. Но слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга. Порой утверждали, что Пушкин был уже давно потерян для поэзии, близкие знакомые возражали, находя среди последних его творений мелкие стихотворения и поэму прекрасные донельзя.

– В его поэзии сделалась большая перемена, прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений, в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих, глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает, и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения, – говорил седой благообразный старик, заливаясь слезами. – Плачь, мое бедное Отечество! Не скоро родишь ты такого сына!

Находились и те, кто вставал на сторону второго дуэлянта, Дантеса, гнусного обольстителя, называя его поведение «рыцарским». Впрочем, этот француз действительно был очень хорош собою, красота внешняя для глупцов значимее красоты души. К тому же Пушкин вел себя столь опрометчиво, что сам дал врагам своим оружие против себя.

Отпевали поэта на Конюшенной. Стечение было многочисленное по улицам, ведущим к церкви, и на Конюшенной площади; но народ в церковь не пускали. Едва достало места и для блестящей публики, коей прибыло с избытком. Тут и там слышал я знаменитые фамилии и громкие титулы, показали мне послов испанского, австрийского, саксонского… Были там и чины двора, министры некоторые, даже и те, которые при жизни поэта считались его недоброжелателями. Были на отпевании актеры, журналисты, авторы… Юные дарования, надеявшиеся печататься в «Современнике», плакали о крушении своих мечтаний. Все товарищи поэта по Лицею явились. Друзья на руках вынесли гроб; но желавших так много, что теснотою у одного из них разорвали фрак. Я узнал, что после его смертные останки повезут в монастырь около псковского имения, где погребены все Ганнибалы: Пушкин хотел непременно лежать там же.

Пришлось мне тут лично увидеть и Егора Антоновича Энгельгардта, директора Лицея, с которым до этого печального события довелось мне лишь раз раскланяться. Старик плакал:

– Восемнадцатый умирает, – имея в виду, что из первого выпуска Лицея восемнадцати уж не стало.

Площадь вся покрыта народом, в домах и набережных Мойки тоже. Говорили много речей и возле церкви, и потом, когда друзья и знакомые, а среди них и ваш скромный слуга, отправились помянуть покойного.

– Отличительною чертою Пушкина была память сердца, – задумчиво произнес один из знавших его близко. – он любил старых знакомых и был благодарен за оказанную ему дружбу – особенно тем, которые любили в нем его личность, а не его знаменитость; он ценил добрые советы, данные ему вовремя, не в перекор первым порывам горячности, проведенные

рассудительно и основанные не на общих местах, а сообразно с светскими мнениями о том, что есть честь, и о том, что называется честью.

Князь Вяземский, коему я решился представиться, произнес подобие речи:

– Пуля, сразившая Пушкина, нанесла ужасный удар умственной России. Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-видимому, друг друга исключающие качества. Пушкин, коего талант поэтический удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений. Он нажил себе много врагов эпиграммами и колкими насмешками. Они мстили ему клеветою. Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта; находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил: все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца.

Увы, странности характера поэта, противоречия его признавали даже те, кто любил его всей душою.

– Пылкость его души и слияние с ясностью ума образовали из него это необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайностей, – произнес тихо один из поминавших в ответ на слова Вяземского. – Эти крайности не только вызывали неприязнь его врагов, но и мягкое осуждение друзей.

Князя Вяземского в тот день мне пришлось проводить домой: от расстройства он заболел и тем же вечером я ставил ему пиявки.

* * *

Наталья Николаевна ужасно страдала несколько дней, и я даже опасался горячки. Но болезнь прошла, оставив только слабость и угнетенное состояние. На вынос тела из дому в церковь Наталья Николаевна не явилась от истомления и оттого, что не хотела показываться жандармам. Впрочем успокоилась она довольно скоро и спустя неполный месяц уже жила, как и прежде: подолгу занимаясь укладкой своих чудных волос, выбирая траурные платья… Она не казалась особенно огорченной, прощаясь с Жуковским, Данзасом и Далем – с тремя ангелами-хранителями, которые окружали смертный одр ее мужа и так много сделали, чтобы облегчить его последние минуты.

Госпожа Пушкина была рада, что уезжает из столицы. Она мечтала иметь свой угол и всецело посвятить себя воспитанию детей.

– Я совсем не жалею о Петербурге; меня огорчает только разлука с Карамзиными и Вяземскими, но что до самого Петербурга, балов, праздников – это мне безразлично! – сказала она мне в тот день.

Помнится, я заговорил с ней о книгах ее мужа, о его необычайной силы сочинениях и о романе «Ибрагим», который он начал, но не закончил, повествуя о своем прадеде, знаменитом арапе. Беседа эта оставила Наталью Николаевну равнодушной.

– Я не читала и никогда не слышала от мужа о романе «Ибрагим», – удивилась она, – возможно, впрочем, что я его знаю под другим названием. Что касается других его сочинений, – призналась она, – то я пыталась их читать, но у меня не хватило мужества: слишком сильно и мучительно они волнуют, читать его – все равно что слышать его голос, а это так тяжело!

Она виделась с сестрой, чтобы попрощаться, вероятно, навсегда. Екатерина Николаевна немного поплакала, но до этой минуты была спокойна, весела, смеялась и всем, кто бывал у нее, говорила только о своем счастье. Дантес был разжалован в солдаты, а затем выслан из России. Супруга его последовала за ним.

Его приемный отец барон Геккерн распродал всю свою мебель, фарфор и серебро и тоже покинул Россию. Сумеют ли эти люди осознать то зло, что они причинили? Бог знает…

Слышал я потом, что Наталья Николаевна блюла траур намного дольше, чем завещал ей муж. Что в деревне они принялась читать и прочла-таки все произведения своего покойного супруга, оценив их по достоинству. Недавно, слышал, вышла она замуж. Говорят, что новый муж ее…

***

На этом месте повествование обрывается. Конец рукописи утрачен.

Эпилог

Перейдем теперь к рассмотрению всего, что было поведано моим прадедом в его записках.

Прежде всего отметим те наследственные данные, из которых сложилась личность поэта. Изучая родословную Пушкина, мы можем отметить, с одной стороны, целый ряд душевнобольных и резко патологических типов, с другой – лиц творчески одаренных, поэтов и писателей.

Прадед поэта по отцу, Александр Петрович Пушкин, умер весьма молодым, в припадке сумасшествия зарезав свою беременную жену; сын его, Лев Александрович, представлял собой ярко патологическую личность: пылкий и жестокий, он из ревности замучил свою жену, заключив ее в домашнюю тюрьму, где она умерла на соломе.

Отец поэта Сергей Львович был известен во всей аристократической Москве своими каламбурами, остротами и стихами; стихотворство было его страстью. Но в то же время он был раздражителен и очень тяжел в домашней жизни; нрава был непостоянного, мелочного, попеременно то мотал деньгами, то бывал неимоверно скуп. Барон Корф называл Сергея Львовича человеком пустым, бестолковым и безмолвным рабом своей жены. От отца своего Пушкин унаследовал, с одной стороны, одаренность, поэтический талант, с другой – много психопатических черт.

Василий Львович, дядя поэта, пользовался славой хорошего стихотворца, но так же как и прочие Пушкины, был склонен к эпатажу и замешан во многих скандалах. Младший брат Лев Сергеевич Пушкин был алкоголиком. Сестра шокировала свет дерзкой выходкой: сбежала из родительского дома с любимым человеком. В те времена такое поведение считалось непристойным.

Мать поэта происходила из рода Ганнибалов, родоначальником которого был известный Абрам Петрович Ганнибал, африканский негр, подаренный Петру Великому турецким султаном. У всех потомков Ганнибала мы можем отметить резко выраженные психопатические черты характера: Абрам Петрович был очень сварлив и неуживчив и постоянно ссорился со своими сослуживцами; будучи необузданно ревнив, он отличался в семейной жизни своеволием и скупостью. Сын его Петр был алкоголиком, другой сын Осип, умерший от «невоздержанной жизни», отличался «пылкой страстью» и «легкомыслием». Он бросил жену скоро после свадьбы с младенцем-дочерью на руках.

Надежда Осиповна была женщиной вспыльчивой, эксцентричной, взбалмошной и рассеянной до крайности. Периоды возбуждения и хорошего настроения чередовались у нее с депрессиями, когда она днями не выходила из своих комнат. Все эти черты характера поэт унаследовал от матери.

Таким образом, из этих данных мы видим, что Пушкин был отягчен как по материнской, так и по отцовской линии.

Характер у самого Пушкина был страстный, вспыльчивый, порывистый и очень неровный. Современники отмечали его холерический темперамент, для которого характерна циклическая смена настроений. Эта ярко выраженная цикличность наблюдаются в поведении поэта уже с самого его детства.

Так, по описанию матери, в раннем детстве поэт был толстым, неповоротливым, угрюмым и сосредоточенным ребенком, предпочитавшим уединение всем играм и шалостям. Даже гулять его водили насильно. Замкнутость мальчика усугубляло и то, что тщеславная красавица-мать считала своего сына крайне некрасивым и даже стеснялась его внешности. Таким образом, взгляд на самого себя, как на «безобразного потомка негров» был привит ему с детства.

Вдруг в возрасте семи лет в Пушкине произошла резкая перемена: он стал резвым и шаловливым; родители пришли в ужас от внезапно проявившейся необузданности. В этот период проявилось и его злое остроумие: несколько раз маленький Саша довольно резко отвечал людям, подтрунивавшим над ним и над его внешностью.

Позднее он сохранил все те же качества. Бросается в глаза резкая неустойчивость его психики. Он любил карточную игру, был азартен, не умел вовремя остановиться и часто проигрывался, искал сильных ощущений, особенно в молодости. Все знавшие Пушкина, говорят о том, что он был то шумно весел, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. К тому же Пушкин не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно, порой шокируя окружающих.

Великий российский психиатр Петр Борисович Ганнушкин описывает тип личностей с многократной волнообразной сменой состояний возбуждения и депрессии. Он говорит о том, что эти колебания обыкновенно берут начало в возрасте полового созревания, и до того вялый, неуклюжий и застенчивый ребенок вдруг развертывается в блестящего, энергичного, остроумного и находчивого юношу, обнаруживающего массу ранее скрытых талантов, кружащего головы женщинам и полного самых розовых надежд и широких планов. Далее начинается периодическая смена одних состояний другими, иногда связанная как будто с определенными временами года, чаще всего – с весной или осенью. Именно это мы наблюдаем у Пушкина: он сам называет своей любимой порой года, связанной с творческой активностью, осень.

И действительно, одновременно с фазой возбуждения проявился и поэтический талант Пушкина. На восьмом году он стал сочинять комедии и эпиграммы на своих учителей, чем их немало раздражал.

В двенадцать лет поэт поступил в Лицей. Учился Пушкин очень небрежно и только благодаря хорошей памяти смог сдать хорошо большинство экзаменов; он не любил математики и немецкого языка, то есть предметов, требующих прилежания и усердия.

Он поразил всех товарищей ранним развитием, раздражительностью и необузданностью. Ф.О. Пешель отмечал, что характер его был неровный. Мальчик мог то расшалиться без удержу, то вдруг задуматься и долго сидеть неподвижно. Он был то шумливо весел, то грустен, то робок, то дерзок. Выходки его далеко выходили за рамки приличий, они поражали окружающих и часто выходили боком для него самого.

В Лицее он впервые близко столкнулся со смертью: его слугой был серийный убийца Константин Сазонов. Это страшное происшествие не могло не повлиять на восприимчивую психику поэта. «Ходил уж смерти под косою», – написал Пушкин. Возможно, будущий гедонизм поэта, его страстное желание получить от жизни максимум удовольствий связан с этим ощущением близости смерти.

Лицейский врач отметил и суицидальную попытку – Пушкин рассек себе руку ножом при угрозе наказания, видимо физического. Покушался он на самоубийство или думал о нем, когда по Петербургу о нем ходили сплетни подобного рода. Это говорит о болезненной гордости поэта, его чрезвычайно развитом самолюбии: дворянские понятия о чести он ставил выше своей жизни.

Поэт окончил лицей в 18 лет. С этого периода он жил в Петербурге, где поступил на службу. Это время характеризуется резкими приступами возбуждения, повышенного тонуса всех жизненных отправлений, далеко выходящего за пределы нормального повышения психического тонуса, свойственного юношам такого возраста. Его беспутный образ жизни отмечают даже друзья. Поэт проводил дни и ночи в кутежах, посещал женщин легкого поведения, проигрывал в карты все имеющиеся у него деньги, а порой ставил на кон свои стихи. Он уже приобрел популярность и всегда был в центре внимания.

Его африканская кровь, необузданный темперамент приводил и к невероятному обилию любовных романов со светскими дамами, так называемыми «порядочными женщинами», и это демонстрирует нам вопиющую безнравственность русского общества времен царизма.

«Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний», – писал о себе поэт, переживавший из-за своей внешней некрасивости. Здесь можно увидеть желание взять реванш у судьбы, не одарившей его красотой. Таковое желание получило в западной

психиатрической литературе название комплекса Квазимодо.

Упомянутое «бешенство желаний» носило патологический характер похотливости, о чем ярко свидетельствуют его современники. «Пушкин представлял тип самого грязного разврата», – прямо говорил о нем барон Корф. Рассказчик доносит до нас сплетни о гомосексуальной связи Пушкина в подростковом возрасте, что, безусловно, говорит о чрезмерной сексуальности и неистовом темпераменте.

Даже известная содержательница публичного дома в Петербурге, Софья Астафьевна, жаловалась полиции на «безнравственность» Пушкина, который «развращает ее овечек». Циничные высказывания поэта шокировали даже видавших виды проституток.

В этот период Пушкин часто заражается венерическими болезнями, которые в то время лечили ртутью – более ядом, нежели лекарством. Известно, что ртуть накапливается в организме и разрушает тело и рассудок исподволь. Не избег этих симптомов и поэт, о чем мы еще вспомним.

Тяжелая горячка обрывает этот период и вызывает фазу депрессии. Пушкин оказывается на грани жизни и смерти. Сам Пушкин говорит о полной апатии, об омертвелости духа, об утрате поэтического вдохновения.

Но вскоре наступает снова фаза возбуждения, настолько сильного и неконтролируемого, что происходит конфликт с властями. Пушкина высылают административно из Петербурга в распоряжение генерала Инзова, в Екатеринослав. Там он снова заболевает, простудившись после купания. «По обыкновению схватил горячку», – объясняет это сам поэт, то есть приступ не был первым. Возможно, простуда разбудила дремавшую в организме инфекцию.

Рассказчик, доктор Спасский, считает, что в качестве диагноза следует назвать малярию, но, возможно, и не только: не будем забывать о недолеченных венерических болезнях, угнездившихся в организме поэта.

Доктор Рудыковский лечит поэта хиной и этим оказывает ему немалую услугу, предвосхищая способ лечения сифилиса, вошедший в медицинскую практику лишь полвека спустя. Во второй половине XIX столетия медики нарочно заражали пациентов малярией, дабы резкие приступы лихорадки истребили бы сифилис или перевели его в латентную стадию. По всей видимости, именно это и произошло тогда в Екатеринославле, и поэт либо выздоровел от венерической болезни, либо болезнь перешла в стадию ремиссии. С тех пор горячка не повторялась, но цикличность «возбуждение – депрессия» сохранилась.

Профессор Ганнушкин отмечает, что у циклотимиков состоянии возбуждения обыкновенно субъективно воспринимаются как периоды полного здоровья и расцвета сил, тогда как приступы депрессии, даже если они слабо выражены, переживаются тяжело и болезненно.

Депрессии сопровождаются соматическими расстройствами и снижением работоспособности. Именно это мы видим в случае с Пушкиным. «Я мнителен и хандрлив», – признавался он. И действительно, его болезненная мнительность, усугублявшаяся при депрессивных состояниях, выражалась в суевериях: Пушкин верил в вещие сны, в гадания, во всевозможные приметы вроде перебежавшего дорогу зайца или пролитого на скатерть вина.

Другой характерной чертой Пушкина, как мы уже отмечали, было его болезненное самолюбие: он ни в чем не хотел отставать от других. «Во всем обнаруживалась африканская кровь его» – так говорил о нем современник.

Как многие циклотимики, Пушкин любил красоваться, быть в центре внимания. Он гордился своим шестисотлетним дворянством и обижался на тех людей, которые не признавали в нем светского человека. Стоило кому-нибудь задеть поэта, посмеяться над ним или просто не обратить на него достаточного внимания, как Пушкин резко менялся: на прогневившего его бедолагу обрушивались язвительные эпиграммы, а мог последовать и вызов на дуэль. Начальник его в Кишиневе получал бесконечное число жалоб на «шалости и проказы» Пушкина: драки, адюльтер и тому подобные похождения служили темой

постоянных толков.

При этом насмешек над собой Пушкин не выносил, и в этом случае дело обыкновенно заканчивалось дуэлью. Обилие этим дуэлей отмечал и он сам, и его знакомые. Дуэли сопровождали Пушкина всю жизнь. При невозможности решить дело поединком, как в случае с графом Воронцовым, поэта настигала затяжная депрессия.

Кроме того, как все патологические эротоманы, Пушкин был фетишист: образ женской ноги всего ярче зажигал его эротическую фантазию. Это общеизвестно, об этом свидетельствуют многочисленные стихи и рисунки, набросанные в черновых его рукописях.

Говоря терминами психоанализа, у Пушкина было мощнейшее «либидо», т. е. огромное количество подсознательной сексуальной энергии. Эта энергия, с одной стороны, проявлялась в постоянном поиске сексуального удовлетворения, а с другой стороны, сублимировалась в творческом процессе, воплощаясь в дивных пушкинских стихах.

Но к серьезной и глубокой любви Пушкин не был способен, вся его натура была поверхностна в отношении любви, и в этом выражалась его классовая ограниченность. Циничное потребительское отношение к женщине было вполне в духе николаевской России. Как и большинству дворян того времени, Пушкину нужно было легкое отношение к женщинам – пустым свободным болтуньям. Пушкин, видя в женщине предмет чувственного обожания, в то же самое время ее очень и очень низко ставил: он считал женщин существами низшего порядка, лживыми, злыми, коварными и душевно грубыми. «Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин», – признается он. С этой постоянной влюбленностью соседствовала крайняя мизогиния – презрение к женщинам. Пушкин видел в женщинах лишь внешнюю красоту, женский ум его раздражал. Он не уважал женщин и считал их всех склонными к адюльтеру. Мог писать избраннице стихи и ругать ее непристойными словами в письме к приятелю – как в случае с Анной Керн.

Из этой свойственной Пушкину мизогинии, логично проистекала и еще одна патологическая черта, выходящая за рамки нормы: патологическая ревность. К любви, к страсти всегда примешивалось это чувство, пожиравшее его и ухудшавшее его самочувствие все сильнее и сильнее, несмотря на то что приступы возбуждения как будто и ослабли. Пушкин признавался, что чуть было не задушил одесскую прелестницу, которая предпочла ему другого.

Снова обратимся к Ганнушкину, писавшему о том, что у циклотимиков в конце концов, и состояния подъема теряют свою безоблачно радостную окраску: частые нарушения душевного равновесия утомляют, вызывая чувство внутреннего напряжения. Именно таким внутренним напряжением и была патологическая ревность поэта.

Именно у циклотимиков нередко удается наблюдать одновременное сосуществование элементов противоположных настроений; так, например, во время состояния возбуждения в настроении бального можно открыть несомненную примесь грусти. Именно это отмечают современники у Пушкина: когда он смеялся, создавалось впечатление, что на самом деле ему грустно на душе, а Анна Керн (рассказчик упоминает ее, не называя, однако, фамилии) говорит о том, что Пушкин предавался любви со всею ее задумчивостью, со всем ее унынием. Это уныние становилось более очевидно в период депрессий, когда поэтическое воображение, воплощалось не в стихах, а в болезненных фантазиях и в патологической ревности, омрачавшей его любовные увлечения.

Неправильный образ жизни, разнообразные излишества, злоупотребление алкоголем, болезни привели к тому, что к тридцати годам поэт выглядел уже пожилым человеком. Именно в этот период своей жизни он женился. Сам Пушкин говорит о том, что законная супруга стала его сто тринадцатой любовью. Наталья Николаевна была его моложе на пятнадцать лет – большая разница, но, впрочем, обычная для того времени.

Но могла ли понять поэта юная неопытная девушка? Вряд ли. Тем более что даже в супруге своей Пушкин ценил лишь одну только внешнюю прелесть – не более. Молодая женщина, выросшая под опекой тираничной матери-алкоголички, мечтала о светской жизни и удовольствиях. Она не была умна, мало читала и отличалась легкомыслием. Рассказ

доктора Спасского не дает никаких оснований полагать, что Наталья Николаевна плохо относилась к своему супругу или была ему неверна, к тому же доктор прямо говорит о том, что она была хорошей матерью. Но очевидно, дальше этого ее интересы не распространялись, и супруга поэта была женщиной крайне ограниченной и чуждой его прогрессивных взглядов.

Юная ветреница легко могла позволить себе невинный флирт с партнером по танцам. Возможно, в этом не было ничего дурного, не будь ее супруг так патологически ревнив. Ревность омрачала его супружество, лишала покоя.

Пушкин признавался, что чувствует себя самым несчастным существом – существом близким к сумасшествию, когда видит свою жену разговаривающей и танцующей на балах с красивыми молодыми людьми; уже одно прикосновение чужих мужских рук к ее руке причиняет ему приливы крови к голове. Даже уверения в том, что жена ему верна, не успокаивали эту болезненную патологическую ревность: Пушкин, сознавая свою некрасивость, страдал от того, жена может изменять ему в мыслях, даже оставаясь ему верной физически.

Да, надо признать, что здесь ревность уже превращается в нечто бредовое. Пушкин становится желчным, обозленным, подозрительным; все окружающие кажутся ему врагами; в каждом слове ему чудится намек или оскорбление. С каждым годом приступы меланхолии делаются чаще и чаще, но и в то же время теряют тот характер чисто эмоциональных депрессий, а, скорей, принимают характер патологической скуки и замкнутости. Усугубило депрессию и то, что осенью 1836 года к нему не пришло обычное для этого времени года вдохновение. Даже почитатели поэта считали, что его последние стихотворения некрасивы, и он вынужден был довольствоваться мякиной прозы и ненавистной ему журналистикой.

В 1837 году все стали замечать, что Пушкин сделался почти что ненормальным. Он очень плохо выглядел – много старше своих тридцати семи лет. Прежде курчавые волосы его лысели, лицо покрылось морщинами. Причиной этого мог быть недолеченный сифилис и застарелое ртутное отравление: ведь ртуть накапливается в человеческом организме и выводится очень медленно. А одним из симптомов такого отравления являются и изменения в психике больного: мрачность, подозрительность, нервозность… Все это наблюдаем мы у Пушкина.

Поведение его в этот период явно выходило за рамки психологической нормы и даже обычной человеческой этики: одержимый патологической ревностью Пушкин нарочно посещал те же бордели, что и Жорж Дантес, нарочно выбирал тех же проституток, но не с целью соития, а лишь для того, чтобы выспрашивать у них интимные подробности о сексуальных пристрастиях Дантеса, а потом распространять о нем сплетни самого гнусного толка. Нет никакого сомнения, что, находясь в здравом рассудке, поэт бы осудил сам себя. Здесь движущей силой его поступков была болезнь.

Находясь в состоянии тяжелой затяжной депрессии, страдая от патологической ревности, он фактически сам добивался той роковой дуэли, во время которой смертельная рана подсекла его жизнь.

*** * ***

Таким образом, в случае Александра Сергеевича Пушкина мы можем наблюдать циклотимический тип личности. Наследственная отягощенность обратилась в гениальность – не в безумие. Но в то же время наличествуют сексуальные комплексы – фетишизм, комплекс Квазимодо, а также ярко выраженная классовая ограниченность человека, выросшего и воспитанного в обстановке крепостничества.

Длительное время его эмотивно-лабильная натура почти полностью компенсируется активным плодотворным творчеством. Но в то же время в его биографии наблюдается кривая: маниакальные состояния, необычный подъем, взлет мысли чередуется с депрессиями. Опасность для его душевного здоровья

возникает во время депрессий, когда исчезает способность творить. Именно такой была последняя осень и зима! Тогда обостряется мнительность, ревнивость, разум поэта деградирует, появляются болезненные фантазии и все это в конце концов приводит к трагическому концу.

С уважением,

Спасский Н.Н.

Русское евгеническое общество прекратило свою деятельность в 1929 году, примерно в то же самое время, когда было получено это письмо, оставшееся без ответа и без рассмотрения.